Что глаза мои видели. Том 1. В детстве

Николай Платонович Карабчевский

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Воспоминания русского адвоката Н. П. Карабчевского (1852–1925).

Выпущены в Берлине в 1921 г. Старая орфография изменена.

- Николай Платонович Карабчевский
  -
  -
  - Глава первая
  - Глава вторая
  - Глава третья
  - Глава четвертая
  - Глава пятая
  - Глава шестая
  - Глава седьмая
  - Глава восьмая
  - Глава девятая
  - Глава десятая
  - Глава одиннадцатая
  - Глава двенадцатая
  - Глава тринадцатая
  - Глава четырнадцатая
  - Глава пятнадцатая
  - Глава шестнадцатая
  - Глава семнадцатая
  - Глава восемнадцатая
  - Глава девятнадцатая
  - Глава двадцатая
  - Глава двадцать первая
  - Глава двадцать вторая
  - Глава двадцать третья
  - Глава двадцать четвертая
  - Глава двадцать пятая
  - Глава двадцать шестая
  - Глава двадцать седьмая
  - Глава двадцать восьмая
  - Глава двадцать девятая
  - Глава тридцатая
  - Глава тридцать первая
  - Глава тридцать вторая
- notes
  - 1

- ○ 2
- ○ 3
- ○ 4
- ○ 5
- ○ 6
- ○ 7
- ○ 8
- ○ 9
- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26

Николай Платонович Карабчевский
Что глаза мои видели
Том 1. В детстве

Этот труд напечатан в количестве пяти тысяч экземпляров, из которых сто на лучшей бумаге.

Все права сохранены за автором

Посвящается русским друзьям

Глава первая

Свет Божий я увидел впервые в городе Николаеве, Херсонской губернии, в конце 1852-го года.

Что это не был свет солнца, — ясно уж из того, что я родился, (как и большая часть современного людского рода) до утренней зари, в ночь на 30-ое ноября. Что это не был яркий свет электричества, порукою то, что эта могучая сила не была еще в то время законтрактована акционерными компаниями и не отпускалась в раздроб при помощи штепселей и кнопок.

Вероятно, это был слабый свет масляной лампы (керосиновые были еще впереди), или сальной, в лучшем случае стеариновой свечи.

У бабушки Евфросинии Ивановны только в парадных комнатах, т. е. в гостинной, столовой и в зале, в стенных бра, подсвечниках и в высоких канделябрах были заправлены стеариновые свечи, в жилых комнатах обходились особого (высшего) сорта сальными шестигранными свечами, не слишком быстро оплывавшими, в отличие от тонких сальных сосулек, с быстро нагоравшими, растрепанными фитилями, которые были в ходу в людских, девичьих и кухонных апартаментах. Полагались особого рода щипцы и щипчики (иногда фигурного фасона), для снимания фитильного нагара, но даже бабушкины премьер-лакеи (Степка и Ванька), за ними и вся дворня, отлично приспособились снимать нагар примитивным способом, т. е. пальцами, предварительно поплевав на них.

Мать моя, Любовь Петровна, как я приметил, предпочтительно любила ровный и мягкий свет масляной лампы, затененный белым фаянсовым абажуром. По всей вероятности, этот уютно-незлобивый свет и был первым, который увидели мои глаза.

Одновременно с ним я должен был увидеть множество женских лиц — (тетушек родных, двоюродных и троюродных) и ни одного мужского лица.

Ни одного мужского лица потому, что мой отец (Платон Михайлович) как раз в это время, после возвращения из «похода против венгров» (подавление «венгерского восстания» в царствование Николая Павловича в 1848 году), получил в командование уланский Его Высочества Герцога Нассауского полк, который в эту пору квартировал в местечке «Кривое Озеро», где мать, мною беременная, не могла основаться. В то время процедура приемки и сдачи кавалерийского полка, с его фуражом, амуницией и лошадьми, считалась хозяйственно-

сложной и крайне ответственной. К тому же, принимаемый отцом полк в то время усиленно ремонтировался, готовясь к весеннему Высочайшему смотру в Чугуеве, куда по этому случаю, должна была стянуться кавалерия со всего юга.

Отца моего я никогда не видел; по крайней мере, не помню, чтобы я его видел; видел ли он меня в течение полутора лет, которые он еще прожил после моего появления на свет, — не знаю.

Вероятно, все-таки урывался в отпуска и подержал на своих руках наследника.

Долго мне об отце никто ничего не говорил и ничто мне его не напоминало, кроме молитвы, которой меня научила, в числе других молитв, няня Марфа Мартемьяновна.

Каждое утро, и вечером, перед укладыванием меня в постель, я повторял сначала за нею, а затем выучил и наизусть, кроме «Отче наш», «Богородицы» и «о здравии мамы, бабушки, сестрицы и всех сродников», — еще и такую молитву: «упокой Господи душу родителя моего, раба Божия Платона и сопричти его к лику праведных твоих».

Не будь этой молитвы, сочиненной, очевидно, сердобольным рвением самой Марфы Мартемьяновны, мне бы не приходило в голову, что у меня, кроме бесконечно любимой матери, был еще и отец.

Только уже почти в годы отрочества, из рассказов матери и других близких мне (а их было множество, и все говорливого, женского пола) я узнал кое-что доподлинно о моем отце.

Он женился на моей матери бездетным вдовцом и прожил с нею недолго, всего лет шесть.

Старшая моя сестра, Соня умерла, не дожив и года; вторая Ольга, старше меня года на два, была бессменной подругой всего моего детства. По общему отзыву, она была «вылитый отец», я же походил, скорее, на мать.

Судя по сохранившимся двум портретам покойного отца, он был видный, бравый каваллерист. Мать, которая вышла за него замуж по страстной любви, уверяла, что он был «просто красавец».

На одном портрете (акварель) он изображен на своем белом, арабской крови, «Алмазе», в полной парадной форме своего полка. На другом, малом, рисованном на слоновой кости, он изображен только по пояс. По отзыву матери, этот особенно разительно передал сходство. Здесь, рядом с белыми, во всю грудь, лацканами его мундира, он выглядит жгучим брюнетом, с черными, как воронье крыло, опущенными вниз усами, небольшими, по тогдашней моде, бачками и черным как смоль,

слегка вьющимся коком, над высоким смугловатым лбом.

Позднее, родной брат покойного, Владимир Михайлович Карабчевский, утверждал и объяснял мне, что род Карабчевских — турецкого происхождения. У него была даже какая-то печатная брошюрка, семейная реликвия, содержавшая в себе соответственные сведения. Во время войн при Екатерине, при взятии Очакова, был пленен мальчик-турчонок, родители которого были убиты. Его повез с собою в Петербург какой-то генерал, там его отдали в военный корпус и дали фамилию от «Кара», что значить черный. Он мог быть дедом моего отца и, стало быть, моим прадедом. Весь род Карабчевских, вплоть до меня, служил в военной службе, преимущественно в каваллерии.

Великолепные, карие глаза отца, вместе с синеватым отливом их белков и красиво загнутыми ресницами, целиком унаследовала сестра Ольга, которая, в свое время, считалась в ряду красивейших девушек (или по тогдашнему, «выезжающих барышень»), города Николаева, который в то время, как раз, славился своими красавицами.

Из формулярного служебного списка покойного отца, который и сейчас у меня цел, я знаю, что образование он получил «домашнее», причем в той же графе, почему-то, особо обозначено: «арифметику знает». В полк он вступил юнкером, довольно поздно, так как пробовал раньше какую-то штатскую службу. В военной он подвигался очень быстро; очевидно нашел свое призвание. Полковником, и уже полковым командиром, был, когда ему едва стукнуло сорок лет.

После знаменитого Чугуевского смотра, на котором перед Николаем Павловичем парадировала преимущественно каваллерия, отец удостоился особой, занесенной в его формуляры, Высочайшей благодарности. Предрекали, что следующей для него наградой будут вензеля и флигель-адъютантский аксельбант; но рок судил иначе. Именно с этого смотра, предшествуемого бесконечными учениями и маневрами, он, по словам матери, вторично жестоко простудившись, стал хворать, но ни за что не хотел оставить службы и перемогался, пока не слег совсем.

Умер он на 43 м году жизни там же в Кривом Озере, где стоял его полк. Там и похоронен близь самой церкви.

От какой именно болезни он угас, мне в точности не удалось узнать.

По этому предмету показания матери и дяди Всеволода (или дяди «Всевы», как мы его с сестрой любовно называли, и о котором не раз еще я вспомню), диаметрально расходились и даже бывали предметом, настойчивых пререканий.

Мать утверждала, что отец умер, не уберегшись от вторичной простуды, которая «бросилась на легкие», дядя же Всеволод (мамин единоутробный брат), очень друживший с покойным, заверял, что он погиб от какой-то «лихорадки», вывезенной им из Венгрии, своевременно не понятой врачами.

В графе формулярного списка покойного отца с стоическою краткостью обозначено: умер «от кашля».

Из некоторых отрывочных замечаний бабушки, при воспоминаниях о покойном, я заключал, что она была не вполне довольна браком моей матери. В Николаеве, где царил Черноморский флот, каваллерия не могла быть в особой чести, притом же, как я убедился из формуляра отца, он всего на всего владел тремястами десятинами земли, с соответствующим количеством «крепостных душ», бабушка же Евфросиния Ивановна была владелицей трех больших подгородных имений, обширного дома с флигелями в центре Николаева и вообще считалась большою «особою» не только в городе, но и по губернии. Через двух своих дочерей, сыновей, племянниц и внучек она переродилась со всем городом и пришлый каваллерист, мелкопоместный помещик, случайно задержавшийся со своим полком в Николаеве, не представлялся слишком завидной для ее любимой дочери партией.

Именно по настоянию бабушки мать оставалась в Николаеве, когда отец получил полк в «Кривом Озере». Ей был отведен на постоянное житье весь «наличный флигель» т. е. дом, также выходящий на Спасскую улицу, по фасаду «большого дома», в котором жила сама «старая барыня» т. е. бабушка.

Оставшейся молодою вдовою, матери не раз, по понятиям бабушки, представлялись «прекрасные партии» и она очень склоняла ее выйти вторично замуж; но, мать, — трижды будь благословенна ее память! — из любви к детям, не решилась дать им отчима и не стала вить нового гнезда, оберегая прежнее, осиротелое.

Мать свою я любил бесконечно.

Величайшим в раннем детстве было для меня счастьем забраться к ней за спину, когда она по вечерам читала, или вышивала, сидя у лампы, на своем «вольтеровском» кресле, и играть с завитками ее волос у шеи и целовать их. Иногда я тут же и засыпал, свернувшись клубочком, или притворялся спящим, потому что тогда она сама уносила меня в кроватку и помогала раздевать меня. Я обнимал ее шею и долго не отпускал от себя.

Я был большим «плаксой». Бесчисленные мои кузины, носившие меня на руках, не напрасно утверждали, что у меня «глаза на мокром месте». Но это было не от капризов, а от

чрезмерной впечатлительности.

Мать любила общество, ездила на балы и вечера, но это повторялось не слишком часто. Эти ее выезды были для меня одновременно и большим блаженством и большой мукой. Мы с сестрой всегда присутствовали при ее туалете в эти вечера, усаживались в креслах с двух сторон ее туалетного зеркала. Какою она мне представлялась тогда красавицею с открытой шеей и округлыми матовыми плечами, в изумрудном ожерельи, таких же серьгах и фермуаре, отливавших бриллиантовыми искрами. Я понимаю теперь, почему из всех драгоценных камней изумруд до сих пор мне особливо люб.

Но раз туалет заканчивался, я начинал сперва только украдкою, «как бы сморкаться», а затем, при расставании, неудержимо всхлипывал. Долго, и после ее ухода, я не мог успокоиться.

Кроме няни и горничных, с нами, в этих случаях, всегда оставался кто-нибудь из взрослых кузин, обожавших «тетю Любу» т. е. мою мать и прибегавших по соседству развлечь и забавить неисправимого «плаксу».

Удавалось это им не сразу, но, раз удавалось, начиналась шумная беготня по всему дому и Марфе Мартемьяновне, после заправок лампад в детской, удавалось не сразу залучить нас к постелям.

Обыкновенно ей приходилось прибегать к помощи шустрой Матреши, горничной, которой предстояло изловить меня и нести на руках в детскую.

Матреша была милая, от нее пахло яблоками, так как в комнате, где она спала, на полках хранились яблоки и большие стеклянные банки с черносливом. Я обнимал ее шею и мне было уютно и приятно на ее упругой груди.

Младшая из моих кузин, Леля, особенно часто корившая меня за «глаза на мокром месте», однажды вздумала унять меня нарядившись «старой жидовкой», которая должна унести меня, вместе с ворохом старого платья, если я не уймусь.

Хотя она очень худо гримировалась «под жидовку» и я отлично различал, что под платком, накинутом ею на голову, несмотря на то, что и волосы она себе растрепала, была все та же Леля, а не жидовка, тем не менее отчаянию и страху моему не было конца. Я потом долго не мог уснуть, так как мне виделась уже настоящая «старая жидовка» с большим узлом, куда она свободно могла меня запихнуть.

На другой день «выдумщице» Леле очень досталось и от «тети Любы», и от Марфы Мартемьяновны и она была совсем не рада своей затее.

«Женское царство» окружало меня в детстве.

Я был в то время единственный «мужчина» в доме.

Дядя Всеволод, который впоследствии был долго неразлучен со мной, в это время служил еще в Петербурге.

Бабушкин сын от первого ее брака, Всеволод Дмитриевич Кузнецов, был флотским офицером. По его собственному признанию, он был плохим моряком, так как жестоко страдал от морской болезни. Уже во время мичманского кругосветного плавания его вынуждены были, где-то за границей, «списать на берег», так как он не только не свыкался с морем, но каждая новая качка становилась для него смертельной угрозой.

Благодаря этому ему стали давать береговые места, а в данное время он состоял офицером Морского Корпуса в Петербурге.

Остальной морской элемент обширной бабушкиной семьи, так или иначе прикосновенный к флоту, был либо в Кронштадте, либо в Севастополе, где вскоре должна была начаться знаменитая Севастопольская страда.

В качеств единственного наличного представителя мужского элемента в семье, балуемого женским полом, был, таким образом, я и потому не трудно себе представить, сколько женской любовной ласки выпало на мою долю с первых дней моего существования.

Однако, с кормилицей у меня, как мне рассказали потом, вышло огромное недоразумение.

На восьмом месяце моего кормления она неожиданно скрылась, «как в воду канула».

С вечера пропала, только ее и видели.

Воображаю, какой переполох поднялся с моим кормлением.

Искажался я, вероятно, неистово, так как, за неимением под рукой другой кормилицы, пришлось посадить меня «на рожок».

«Проклятая, чуть было не уморила ребенка», — говаривала и долго спустя и не раз Марфа Мартемьяновна.

«Проклятую» так и не разыскали, хотя все меры к тому были приняты.

Были от полиции и «розыск» и «публикации».

Публикации в то время так производились: ранним утром ходил по улицам своего околодка «служивый будочник» с барабаном и барабанил во всю.

Проходящие и из домов посланные, выбежав на улицу, должны были его спрашивать: «служивый, о чем публикация?» Он останавливался и собравшейся около него кучке народа объяснял: так, мол, и так, пропала корова, сбежала дворовая собака, или учинена покража таких-то вещей, а в данном случае сбежала,

дескать, дворовая девка помещицы, генеральши Богданович, таких-то лет и приметы, мол, такие-то. Нередко сулилась при этом и награда за указание и розыск.

Таким же порядком оповещалось городское население о предстоящих публичных казнях и телесных наказаниях.

Кормилицей моей была бабушкина «дворовая девка», деревенская красавица Ганя, или «Ганка», которая перед тем очень провинилась. Живя при своей матери коровнице в «экономии», она родила незаконного ребенка и его, как мертвого, скрыла. Вероятно, сама же удавила.

Властным распоряжением бабушки ее «покрыли» т. е. не довели дела до полиции, ни до суда (не лишаться же девки!) а «по-домашнему» — наказали.

К этому времени подоспело мое рождение и, как здоровую и рослую, ее определили мне в кормилицы.

Дело пошло очень ладно. Здоровое деревенское молоко питало меня на славу. На красавицу кормилицу, пышно разряженную, что твой павлин, на улицах прохожие глядеть останавливались.

По рассказам домашних она полюбила меня, часто целовала и, баюкая, пела свои малороссийские песни.

Особенно любила петь:

Віют вітры, віют буйны,
Аж деревья гнутся…

И вдруг, бросив меня на произвол судьбы, пропала.

По соображениям домашних, основанным на кое-чем подслушанном Марфою Мартемьяновной в девичьих, красавицу Ганю «сманил» заезжий грек (греками «парусниками» в то время кишел Николаев), и увез ее на своем судне в Константинополь.

Бедная Ганя, вот куда занесли ее «вітры буйны».

Чего доброго продал ее алчный грек какому-нибудь богатому турку в гарем… А кто знает, быть может, сам, плененный ее красотою, сделал ее подругой своей жизни, и стала она барыней.

Благодаря этим россказням, влюбленный в свою романтически-коварную «мамку», я не разделял злобного чувства окружающих и мое детское воображение, на разные лады, наделяло ее всеми радостями мира, вплоть до представления ее себе какой-то сказочной султаншей.

Позднее, когда мы летом гостили в деревне у бабушки, я видел дряхлую старушонку, которая была еще при чем-то «при коровнике».

Мне сказали, что это мать Гани.

Старуха своей костлявой рукой погладила мою голову, назвала «миленьким паничиком», а потом захныкала и, наконец, взвыла, приговаривая: «пропала, сгибла Ганя, дочка моя родна бессчастна!»

Я опрометью выбежал из коровника, куда забрел случайно, и пустился к дому.

Глава вторая

Всех менее меня баловала бабушка, Евфросиния Ивановна, хотя я чувствовал, что она любит нас обоих, сестру и меня; да и сам я, хотя сдержанно и почтительно, но любил ее.

Как обстояло дело, пока меня носили на руках, не знаю: сама ли она заходила к нам, или к ней на показ носили внука? Вернее последнее, по крайней мере, с тех пор, как я себя помнил, я ни разу не видел, чтобы она заходила к нам во флигель, а, между тем, мы видели ее аккуратно два раза в день, утром и вечером.

Обычно, этому предшествовала некоторая процедура: сестре одевали свежее платьице, расчесывали «пушисто» волосы и завязывали их сзади лентой, «большим бантом»; меня также обдергивали, оглаживали и приводили в порядок.

В хорошую погоду мы с няней, Марфой Мартемьяновной, чинно проходили двором ширину ворот, с нашего крыльца на ее крыльцо; в дурную же погоду, в мороз или дождь, нас укутывали «с головой» и кучерявый Степка или дюжий бакенбардист Ванька бегом переносил нас разом, меня с сестрой, в «большой дом».

Здесь через анфиладу парадных комнат, казавшуюся мне неимоверно пространной и пустынной, мы чинно следовали в бабушкин будуар, где она всегда восседала в кресле на обычном месте.

Как только мы сворачивали из столовой и попадали в зал, чтобы пересечь его и проследовать двумя гостиными (большой и малой), нам уже издали видна была бабушка, так как ее кресло стояло как раз против раскрытых дверей в «парадные» комнаты.

Строго говоря, каждый день мы видели двух бабушек. Одну пышную и важную барыню, с коричневыми начесами и фигурной наколкой на голове, в шелковом, шуршащем платье, с персидскою шалью на плечах; в руках она обязательно держала мягкий, цветистый, фуляровый платок и миниатюрную золотую табакерку, с ее вензелем в гирлянде, на верхней крышке.

Вечером это была совсем другая бабушка, куда симпатичнее утренней, парадной. Совсем седенькая старушка, с головой повязанной темно-коричневым «очипком», в теплой домашней «душегрейке», отороченной серым мехом, с коленами, укрытыми мягким пуховым одеяльцем; в руках у нее не было ни утреннего платка, ни щегольской табакерки. Взамен этого, на круглом столике, стоявшем подле самого ее кресла, лежала большая серебряная, с чернью, табакерка и огромных размеров полосатый носовой платок с цветными разводами, тут же лежала колода фигурных карт, разложенная «пасьянсом» и большие круглые

очки, в черепаховой оправе.

По утрам мы только прикладывались к ее руке, кое о чем она нас спрашивала, опрашивала и Марфу Мартемьяновну, как мы себя вели и предательски интересовалась, не было ли у меня «насморка» т. е., попросту, не ревел ли я накануне, когда мама уезжала на вечер.

Все в доме знали, что я большой «плакса», но, дипломатически, это именовалось «насморком». Если Марфа Мартемьяновна бывала «в духе», то «покрывала» меня и я торжествовал, так как бабушка, погладив меня по голове, говорила, что я «умник». В противном случае, бабушка выразительно качала головой и что-то строго наговаривала, чего я уже не слышал, так как «насморк» предательски подступал мне к горлу, и нас спешили увести.

Вечерние наши свидания с бабушкой бывали всегда и продолжительнее и много приятнее.

Самый наружный вид ее располагал к интимности… Белые, жидкие волосики, выбившиеся из-под «очипка», ласково смягчали довольно резкие черты ее лица; «душегрейка», со своей меховой оторочкой, как то мягко облегала ее теперь вовсе не пышную, а старчески сухощавую фигуру.

И ритуал наших вечерних посещений был совсем иной.

Марфа Мартемьяновна, после того, как доводила нас до бабушкиного будуара, низко ей поклонившись, не оставалась в комнате, а проходила дальше в помещение Феклы и Фионы, двух бабушкиных наперстниц.

Сестра, которая была самоувереннее и побойчее меня, усаживалась непринужденно на скамеечку, стоявшую в ногах бабушки, брала ее сухощавую, с голубыми жилками, руку и поглаживала ее, а я, обыкновенно, стоял вплотную у бабушкиного кресла.

Матовый свет масляной лампы, стоявшей на столе, как-то легко и тепло освещал всю негромоздкую фигуру «бабушки-старушки» и я чувствовал к ней несказанную нежность, выражавшуюся, впрочем, только тем, что я начинал учащеннее дышать и сопеть носом.

Тогда она сама протягивала ко мне свою руку, которую я целовал, а она несколько раз гладила мою щеку. Пока Марфа Мартемьяновна оставалась в гостях у Феклы и Фионы, слышен был заглушенный говорок, который, восполняя вечерний уют, складным полушепотом достигал до будуара бабушки.

Наконец, когда наступало время, в комнате появлялась Марфа Мартемьяновна, а за нею, на пороге бабушкиной спальни, показывались Фекла и Фиона, знаменуя своим появлением конец

нашего вечернего визита бабушке и начало приготовлений к ее сну.

В отличие от утреннего нашего расставания с бабушкой, дело не ограничивалось одним целованием ее руки; она сама целовала нас, крестила каждого в отдельности и отпускала с миром.

Мы весело, иногда даже шумно, устремлялись обратно, по анфиладе слабо освещенных комнат, прямо в столовую, где нас обыкновенно, как бы неожиданно (но мы знали это заранее) «перехватывала» Надежда Павловна в свою комнату, дверь которой выходила в столовую.

То-то было веселья и радости!

Мы прекрасно знали, что нас ждут здесь и любимые лакомства: изюм, рахат-лукум, орехи, чернослив… да еще мало ли что! Но главное было, все таки, сама Надежда Павловна, всегда ласковая, приветливая, наша «баловница», как прозвала ее Мартемьяновна.

Иногда, к вящему восторгу нашему, мы заставали у нее и нашу маму. Когда у нее не было гостей и она сама никуда не выезжала, она ходила по долгу засиживаться у Надежды Павловны, с которой была дружна с детства.

Надежда Павловна Кирьязи осталась круглой сиротой после скоропостижной смерти своего вдового отца, главноуправляющего бабушкиными имениями, который славился своею честностью и не оставил никакого состояния.

Сын его служил где-то офицером в армии и бабушка высылала ему, от времени до времени, денежные пособия, а Надежда Павловна, девушка далеко не первой молодости, осталась жить у бабушки и стала заведывать всем ее домашним хозяйством, зимою в городе, а летом в деревне, куда уже с весны переселялась бабушка…

Это было очаровательное, незлобивое существо, вся в самоотверженных заботах о других.

Небольшого роста, сухощавая, подвижная брюнетка, с легкою, преждевременною проседью в гладко зачесанных волосах, с добрыми серыми глазами, она, как домашний добрый гений, поспевала всюду, где могла быть полезной. Все «дворовые» дети (а их было не мало), кошки, собаки и всяческая живность знали ее и спешили на ее зов, никогда не оставаясь в накладе.

Злющий цепной пес «Караим», бегавший на заднем дворе, с блоком у цепи, по протянутой вдоль всей конюшни веревке, радостно приветствовал ее появление, прыгал и кидался ей лапами на плечи. Она, нет, нет, и побалует его то куском мясного пирога, то жирною костью.

Часто, когда в хорошую погоду меня выпускали гулять в сад,

я «увязывался» за Надеждою Павловною при хозяйственных ее обходах и, подходя к «Караиму», держался крепко за ее юбку. Все обходилось благополучно и даже сослужило мне большую службу в будущем, когда я подрос и когда конюшня стала предметом моих вожделений. «Караим», со своими коротко обрезанными ушами, сливавшимися с мохнатой, в виде черной (караимской) шапки, густою шерстью на голове и со своей пестрой, словно татуированной, острой мордой, был уже весь в моей власти.

У Надежды Павловны был свой собственный песик, «Нарцик» (от Нарциса, вероятно); не то болонка, не то дворняжка в виде светло-оранжевой, волнистой муфточки на тонких белых лапках, подобранный еще щенком на улице.

Бабушка не любила собак в комнатах. В «большом доме» Нарцик был, отчасти, контрабандою и потому охотно прибегал к нам, во флигель, где ему не возбранялось ни громко лаять, ни носиться за нами кубарем по всем комнатам. У себя же, т. е. в комнатах Надежды Павловны, где он проводил вечера и ночи, Нарцик был совсем другим: лежа смирненько на подушке, у самой печки, он держал себя образцово и, даже при нашем появлении, не вскакивал и радостно не лаял, а только подрыгивая хвостиком, любовно следил за нами своими черными, круглыми глазками, не отрывая пушистой мордочки от подушки.

Мы засиживались у Надежды Павловны, пока не появлялась в дверях одна из бабушкиных наперстниц, Фекла или Фиона, — это означало, что бабушка в постели и «требует» к себе Надежду Павловну для своих хозяйственных распоряжений на завтрашний день. Распоряжения эти давались обыкновенно, не спеша, причем при них всегда присутствовала Фекла, без конца оправлявшая постель бабушки, Фиона же появлялась урывками, при особых надобностях.

Обе женщины уже пожилые, из «дворовых», состояли исключительно при бабушке. У каждой из них, кроме общих функций по гардеробу бабушки и личному за ней уходу, была своя неприкосновенная специальность.

Фекла, сухощавая, небольшого роста, болтливая и суетливая, часто ссорившаяся с остальною прислугою в доме, имела в исключительном своем заведывании «кофейное дело». На ее обязанности было жарить, молоть, хранить и варить для бабушки кофе; поэтому ее звали «кофейницей».

Так как все в доме считали ее бабушкиной «наушницей», то не любили её и редко кто из прислуги, проходя мимо «кофейной кладовки», (особой деревянной пристройке при доме) заслышав энергичный скрип ее большой кофейной мельницы удерживался от восклицания: «у, загудела чертова мельница!»

Интимно все так Феклу и прозвали, кто злобно, а кто просто смеясь, «чертова мельница».

Фиона, и по наружности и по характеру была прямою противоположностью товарки.

Могучей корпуленции, всегда с засученными выше локтя рукавами на мускулистых бронзированных загаром руках, в малороссийском темно-зеленом «очипке» на четырехугольной большой голове, она только в присутствии бабушки, скрепя сердце, ходила в мягких, матерчатых башмаках, настоящею же ее страстью было шлепать, по двору и всюду, босыми ногами, под которыми половицы кладовых и людских комнат жалобно пищали.

Ее особо-специальная миссия заключалась в изготовлении ароматического, нюхательного табака, потребляемого бабушкой.

В особой отдельной «кладовке», всецело находившейся введении Фионы, развешивался на протянутых симметрически тесьмах какой-то (выписной) листовой табак. Тут он сушился, мялся, протирался, сдабривался ароматическими специями, и затем хранился и «выстаивался» в стеклянных, с хорошо притертыми пробками, банках. Сюда нельзя было войти без того, чтобы не начать чихать неудержимо; но сама Фиона, нюхавшая табак, следы которого нередко сочились под ее толстым красноватым носом, любила и работать и кейфовать в своей удаленной кладовке, куда редко кто заглядывал.

Уже подростком любопытство заводило меня иногда и туда, и так как Фиона была добродушна, то ласково принимала меня. Раз как то она принялась целовать меня и прижимать к своей груди, причем от нее нестерпимо пахло какою-то кислою гарью и табаком; я вырвался, убежал и больше к ней, в ее «кладовку», не заглядывал.

Все в доме, кроме бабушки, знали, что Фиона иногда «выпивает» и тогда, незлобивая и ласковая, мирно отлеживается в своей «кладовке», под флагом недомогания.

В противовес «кофейнице» Фекле, Фиона числилась «табачницей», но это было скорее оффициальным ее званием; все домашние и дворовые охотнее титуловали ее «бабкой Фионой».

Ее считали искусной «бабкой-повитухой» и эта негласная ее профессия и доставляла ей случаи принимать неотвратимые «угощения», вызывавшие ее периодические недомогания.

Так как вся бабушкина дворня любила бабку Фиону, то дружно покрывала ее и клятвами готова была бы заверять, что она точно занемогла: то «остудилась», то «мучается зубами, места себе не находит».

Фекла — «наушница» по отношению товарки держала себя

осторожно. Она знала, что без Фионы старой барыне, все равно, не обойтись. Благодаря ее мускульной силе (сама же Фекла была тщедушна и слабосильна) Фиона бабушку и в ванну сажала, и мыла ее, а в случае болезни «мазями натирала», при бессоннице же целыми часами могла ей «пятки чесать».

Притом же и за собой Фекла знала маленькую слабость: бабушкиного кучера, верзилу Марко, любила у себя в кладовке барским кофеем подчивать. От Фионы этого укрыть было невозможно.

Проще было жить им в ладу, тем более, что на первенство в близости к старой барыне Фиона, по своему философскому легкомыслию, нисколько не претендовала. И по вечерам, при наших посещениях бабушки, когда Марфа Мартемьяновна отправлялась в комнату либо Феклы, либо Фионы, они всегда сходились втроем для дружеской беседы.

Марфа Мартемьяновна, сдержанная и чинная, только с этими двумя «приближенными» бабушки допускала знакомство т. е. беседу и рукопожатия; с остальными «дворовыми» людьми она держала себя холодно, чуть-чуть даже надменно.

У нас была кошка «Машка», белая, с черными ушами и хвостом, но она была неласковая. Собственно она была даже не наша, а Марфы Мартемьяновны, жила в ее комнате и спала на перинке.

Иногда, мы видели около нее крошечных котят, презабавных, но они очень скоро исчезали; их куда-то уносила в своем переднике Матреша. Мы приставали к Мартемьяновне с допросом: куда унесли котят? Но она, ничего не объясняя, всегда отрезывала сухо: «Кошка должна мышей ловить, а не котят нянчить». Сама Марфа Мартемьяновна казалась мне, не знаю чем именно, похожею на кошку Машку. Она тоже ходила неслышно, держалась прямо и на своем безбровом, кругловатом лице не выражала ничего, кроме неизменного равнодушия.

Никакой обиды ни сестра, ни я от нее не терпели, да и редко мы оставались с ней наедине, но и привязанности к нам особенной она не проявляла. Я не помню, чтобы она когда-нибудь меня поцеловала, или просто приласкала.

Я также был к ней равнодушен; все беды и радости свои я охотно поверял всякому, только не ей.

Я не помню, чтобы сна когда-нибудь сидела у моей постели, пока я засыпал; никогда я не слышал от нее ни сказки, ни песни.

Когда я чего-нибудь трусил и не сразу мог уснуть, — (а я был порядочным трусом, боялся и «старой жидовки» и вереницы монахов, таинственно двигавшихся перед моими закрытыми глазами, и еще Бог знает чего!) подле моей постели усаживалась

Матреша и мурлыкала что-нибудь вполголоса. В случаях же экстренных, когда тревожно звонили в церквях по случаю разыгравшегося в городе пожара и слышались беготня по улице и гул направляемых к месту пожара, от всех дворов, бочек с водой, я, попросту, перебирался в спальню матери, забирался ей за спину и блаженно засыпал на ее кровати.

Как радостно тогда бывало пробуждение!

Откуда к нам в няни попала Марфа Мартемьяновна, я упустил, в свое время, расспросить маму.

Во всяком случае, она была не из бабушкиных дворовых-крепостных, иначе ее не называли бы все в доме по имени и отечеству; тех всегда звали сокращенными именами (Ванька, Степка, Дунька и т. п.); а особо заслуженных только по отечеству (Макарьевна, Спиридоныч, Ильич и т. п.).

Бабушкины крестьяне все были малороссы (хохлы) и не чисто говорили по-русски, говор же Марфы Мартемьяновны был чисто русский. Возможно, что именно ради этого мать, очень заботливо относившаяся ко всему, что касалось нашего воспитания, и определила ее к нам.

Когда мне уже шел седьмой год, а сестре девятый, Марфа Мартемьяновна перешла от нас к дяде Всеволоду, который, к тому времени овдовев, вернулся из Петербурга в Николаев, со своею маленькой, очень болезненной дочерью Нелли.

Мы совсем не грустили, расставаясь с Марфой Мартемьяновной, тем более, что были в это время всецело поглощены ожиданием «выписываемой прямо из Франции» гувернантки, чистокровной француженки.

Пока что, мы только радовались наступившему междуцарствию, так как, больше чем когда либо, мама была с нами.

Глава третья

Из бабушкиных детей всех ближе к ней была моя мать. Они почти не расставались. Флигель, в котором мы жили, не именовался среди домашних «флигелем», а торжественно величался «домом молодой барыни», в отличие от «дома старой барыни».

Дом «старой барыни», высокий, хотя и одноэтажный, с семью колонами по фасаду и большими окнами, выходивший на Спасскую улицу, имел вид внушительный.

Дом «молодой барыни» был без колон, чуть — чуть пониже, но выходил углом на две улицы и по числу комнат был поместительнее.

Оба дома по фасаду отделялись широкими воротами, с двумя калитками по бокам. Подъездов с улицы в то время в Николаеве не полагалось. Парадные подъезды и большого дома и нашего, один против другого, выходили в проезд, ведущий из ворот во двор.

Двери этих парадных подъездов держались обыкновенно на запоре и широко раскрывались только в торжественных случаях для гостей. Домашние и близкие пользовались другими выходами во двор, с обязательными при них «сенцами» и «крыльцами». Передний двор, куда они выходили вместе со множеством окон жилых комнат, назывался «чистым двором». К бабушкиным именинам и большим праздникам он сплошь посыпался просеянным речным песком.

Задний двор, отделявшийся от первого широким арковым проездом, к которому с двух сторон примыкали службы, не без основания именовался «грязным двором».

Тут из служб были только конюшня, коровник, круглые загоны для волов, курятник и огромный ледник, набиваемый по зимам до верху льдом, стаивавшим к концу лета. Был еще широкий, приземистый погреб, заросший по покатой крыше колючим бурьяном, в отличие от щегольски аккуратного погреба на чистом дворе, крытого, как и все постройки, пузатой черепицей.

На самой середине «грязного двора», чуть ли не во всю его длину, за год, к весне, накоплялась целая пирамида навоза, вывозимого на тачках из конюшни, коровника и крытых загонов.

Каждую весну из ближайшей бабушкиной деревни «пригонялась» партия «девок», с соответствующим количеством парных волов и подростков погонщиков и, благодаря их дружной работе, вся навозная залежь в течение нескольких недель

превращалась в ряд ажурных мелких, пирамид «кизяка», который складывался так для окончательной просушки, украшая в течение лета задние куртины сада, примыкавшего к забору заднего двора, куда бабушка никогда не углублялась.

Процедура изготовления кизяка из лежалого навоза казалась мне очень занятной. Я любил забираться в глубину сада и оттуда подолгу глядеть на смуглые икры рослых и статных босоногих девушек, которые, высоко подоткнув свои юбки, топчась в навозном месиве, размягченном водой и круговой гоньбой по нем нескольких пар тяжеловесных волов, накладывали его короткими лопатами в особые деревянные формы, похожие на небольшие глубокие санки с перегородками, по размеру будущего кизяка.

Своими босыми ногами они плотно утаптывали наложенное месиво и за веревки, прилаженные к этим санкам, вывозили их на себе в сад, где аккуратными рядами выкладывали, быстрым и ловким приемом, их содержимое на задние куртины.

Под действием палящего солнца кизяк быстро обволакивался твердой коркой и тогда его складывали пирамидальными кучками, оставляя для просушки в течении лета.

Когда девушки кончали или прерывали для полдника и обеда свою работу, они тут же, под кранами бочек, наполненных ручной водой, мыли свои руки и ноги и после этого, фыркая и плескаясь, смачивали и свои загорелые, красивые лица.

По воскресеньям и праздникам работы не производились и целый цветник нарядных молодых девушек, в своих расшитых малороссийских рубахах, с цветными намистами на загорелых шеях, высыпал на двор, а там и на улицу, привлекая внимание прохожих. Редко кто на них не заглядывался и, уже пройдя, не оборачивался.

По вечерам на заднем дворе слышна была гармоника — бабушкин лакей «Ванька» был большой мастер на этом инструменте — и доносился порою топот танцующих ног.

Запаса изготовляемого кизяка, убиравшегося к осени под навесы, хватало на всю зиму; им отапливались все «людская» помещения и службы; часть его уделялась и родственникам, проживавшим отдельно.

В доме «старой барыни» и в нашем большие изразцовые печи топились большими охапками коротких суковатых дров, которые весело трещали. У топившейся по утрам печки столовой, на корточках изогнувшись, Матреша поджаривала гренки с маслом, которые горячими подавались к чаю.

Нанизав будущий гренок на вилку, она совала его в печь, часто меняла руку, в которой была вилка, и, морщась, откидывала в сторону лицо от палящего жара. Гренки иногда

чуть-чуть пригорали и даже попахивали дымком, но, от этого не казались мне менее вкусными.

Глава четвертая

Бабушкино городское владенье, в общей его сложности, т. е. включая два дома, оба двора, сад, флигеля и службы, долгое время, пока не было удовлетворено сполна мое любопытство и я не вызнал его во всех подробностях, представлялось мне целым заколдованным царством.

Оно было действительно обширно, так как граничило тремя улицами и занимало три четверти огромного квартала.

Остальная его четверть была поделена между Старообрядческою церковью, с домом для причта, и мастеровым еврейским людом, ютившимся в ряде казарменного вида низких построек, сдаваемых Старообрядческим обществом в долгосрочную аренду.

Стена лачужки, занимаемой малорослым портным Аронкой и его многочисленной детворой, приходилась на границе бабушкиных владений, в глубине нашего сада, и являлась непосредственным продолжением пограничной стены, тянувшейся от большого дома вдоль всего сада.

Бабушка, Евфросиния Ивановна, «приказала» или «разрешила» в этой «аронкиной» стене проделать небольшое оконце, чтобы сподручнее было «выстукать» Аронку, когда он понадобится для какой-нибудь портняжной поделки в доме. Иначе пришлось бы обегать весь квартал, чтобы покликать его, а надобность в нем была частая, так как он одевал всю дворню; им иногда не брезгали и для более ответственной работы. Сооруженные им мне (в разгаре крымской войны) «ополченский» казакин и шаровары много способствовали укреплению его портняжного авторитета.

Мама охотно рекомендовала его всем, кто желал также обрядить своих подростков ополченцами.

Проделанное в его конуру лишнее оконце, и притом в «генеральский сад», очень льстило самолюбию Аронки, а черномазой детворе его давало возможность лишь удовлетворять любопытство, но не дышать чистым воздухом сада, так как, по приказанию бабушки, оконце (чтобы не пакостили!) было заколочено наглухо.

Это одинокое оконце, в свое время, очень привлекало мое детское внимание, особенно в те вечера, когда у Аронки зажигались шабашовые свечи и справлялся шабаш. Мне чудилось, что тогда там творилось что-то таинственно-жуткое, повергавшее самого, обычно, суетливого Аронку в состояние окаменелой торжественности. Эти «шабашовые свечи» и, тут же по соседству,

неотступный звон высокой старообрядческой колокольни и гнусавое пенье церковной старообрядческой службы, которое, из за высокой стены, порою отчетливо доносилось в сад, рано стали тревожить мой детский ум.

И там, и здесь молились Богу, думали о Боге, надеялись на Него… И каждый особенно, каждый по-своему! Зачем Бог не соберет всех разом вокруг себя?…

Нас учили молитвам и рано стали водить в церковь. Но мы ездили только в адмиралтейский Собор, где служба совершалась очень торжественно тремя священниками и дьяконом с пушистыми волосами и звонким басом, причем пел лучший в городе хор певчих.

Мама моя была не очень богомольна и редко бывала с нами в церкви. Нас водила туда Марфа Мартемьяновна, а после, когда дядя Всеволод переселился в Николаев, я стал бывать с ним в церкви каждое воскресенье, причем мы выстаивали всю службу в алтаре.

Молился я горячо и усердно, охотно клал земные поклоны. Сестра меня часто вышучивала за усердие: «смотри, лоб разобьешь».

Кроме иконок и крестиков, висевших в изголовьи моей кровати, и иконы Николая Чудотворца в углу комнаты, с лампадкой перед нею, я водрузил самолично пониже, в уровень с моим ростом, небольшую икону Спасителя, приладил под нею дощечку и налепил на ней тонкую восковую свечу, которую аккуратно зажигал по вечерам накануне праздников, желая, чтобы она горела всю ночь. Ее, разумеется, гасили, как только я засыпал, и мама часто выговаривала мне: «того и гляди, пожара наделаешь!»

На первой неделе великого поста бабушка говела. В церковь она ездила только к обедне. Вечерню и всенощную служил у нее на дому ее духовник «отец Дий», который исповедывал и причащал также меня и сестру.

За отцом Дием всегда посылалась карета, а причетник и певчие приходили пешком, немного ранее его и, скучившись на заднем крыльце, курили и болтали с словоохотливым «Ванькой», которого величали Иваном Макарычем.

В зал, где совершалась служба допускалась вся «чистая дворня» и присутствовали обязательно все домашние.

Иван («Ванька»), любитель всяких торжеств, раздувал кадило и подавал его причетнику, а тот уже передавал его отцу Дию.

Мы, с бабушкой и мамой, стояли на первом месте, т. е. на ковре, который расстилался для этого случая. Для бабушки приносили из будуара ее любимое низкое кресло, на которое она

садилась, от времени до времени. Я всегда стоял подле него и, когда бабушка садилась, начинал особенно рьяно креститься, не кстати становился на колена; мне казалось, что этим усердием я замаливаю невольный бабушкин грех.

В комнат хорошо пахло ладаном, также пахла и рука отца Дия, которую я горячо целовал, когда он, нагибаясь, давал мне целовать крест.

Из всех молитв, который во время службы читал батюшка, меня волновала больше других та молитва, при произношении которой отец Дий клал земные поклоны и все присутствующие, словно на команде, кидались на колена. Я потом знал ее наизусть. Это была великопостная молитва «Господи и владыко живота моего».

И теперь, сознательно анализируя содержание этой превосходной молитвы, я нахожу ее даже выше «Отче Наш».

Это молитва русская, она особенно близка русской грешной душе. Недаром ею восторгался Пушкин В ней мольба о том, чего, как раз, не достает нам, русским: твердой стойкости в самосовершенствовании.

После службы упитанный отец Дий, с лоснящимися щеками, оставался у бабушки пить чай и закусывать. Мне казалось странным, что он и ел с большим аппетитом, и был суетлив в разговоре.

В течете Страстной Недели, обыкновенно начиная со среды, мама читала нам из книги «Нового Завета» про страдания и смерть Иисуса Христа. Чтения эти, неукоснительно, сопровождались горючими слезами. Плакала даже сестра Ольга, которая, в противовес мне, по выражению Марфы Мартемьяновны, — «даром слезинки не роняла».

Мама читала внятно, не торопясь, и я видел, что у нее самой порою увлажнялись глаза. Матреша, непременно присутствовавшая на этих чтениях, стоя, опершись, у косяка дверей, раз дело доходило до распятия, не выдерживала, крестилась и восклицала: «у, жидовины поганые, таки замучили Христа!»

Великопостные вечерние службы и эти чтения очень будоражили мою впечатлительность. Я засыпал не скоро, хотя притворялся спящим, чтобы мне не мешали погружаться в неясные думы о чем-то, чему я не мог подыскать названия.

Мне чудилось, что в полутьме, меня окружающей, происходит что-то таинственное, не то жуткое, не то сладкое.

Я вздыхал, стараясь заглушить вздохи, глаза мои увлажнялись, но я не плакал, а был в каком-то блаженном оцепенении. До последней степени острый прилив любви к маме,

сестре и всем, всем близким внезапно сменялся страхом потерять все, что я так любил. И я старался не поддаваться сну, который так властно может уносить все…

Особенно мучительны стали эти ночные переживания после одного происшествия. К нам на двор привезли хворого пасечника, которого бабушка очень ценила, почему и решила поместить его в городской госпиталь, чтобы его вылечили.

До отправления в госпиталь его приютили в одной из «людских» горниц; с ним была его жена и старуха мать. Они умоляли не отсылать его в госпиталь и дать ему умереть спокойно. Надежда Павловна была их ходатаем в этом перед бабушкой. Дня три длились переговоры, пока осмотревший больного доктор не объявил, что он в последнем градусе чахотки и что не только дни, но и часы его сочтены.

Скоро он, действительно, скончался, о чем все в доме немедленно узнали по причитаниям и плачу его баб. Это началось с вечера и продолжалось всю ночь: вопли и причитания становились все голосистее. Я не выдержал, со страху убежал в спальню матери, забрался ей за спину в постели и только тут мог заснуть.

На утро меня стало мучить любопытство: «пришла кормильцу смерть!» «умер!» «скончался!» и в причитаниях баб, особенно явственно, — «на кого же ты нас покидаешь?!»

Я улучил минуту, когда меня выпустили на двор, и пробрался к дальней «людской», в самой глубин двора, откуда шли причитания и вопли.

Низкие окна позволили мне заглянуть в горницу, где днем горели свечи и освещенный ими худой, весь в белом, желтый мертвец лежал во всю свою длину на широкой скамье!..

Лицо его, точно прозрачно-восковое, обрамленное черными с проседью волосами, нисколько не было страшно, но когда я увидел его посиневшие, костлявые руки, неподвижно сомкнутые на груди, мною овладел ужас. Простой сосновый гроб стоял торчком тут же в углу.

Покойника в тот же день на подводе, запряженной волами, увезли со двора. Его бабы не хотели хоронить его иначе, как на своем деревенском кладбище.

Впечатление от этой первой смерти, которую я видел близко, не сразу изгладилось из моей памяти. Тревога за дорогих близких, стала сознательно овладевать моею душой. Я удваивал свою нежность к ним, ласкался и мучился, стараясь никого не огорчить. Вместе с тем я как-то разом излечился от своего «насморка», перестал быть «плаксой». Точно сообразил, что то, над чем я хныкал до сих пор, не стоило слез и что их надо беречь

и таить для большего.

Даже бабушка под конец заметила во мне эту перемену и иногда, в моем же присутствие объявляла маме: «он у тебя стал наконец умным!», на что мать, проводя рукою по моей голове, низменно ей отвечала: «Он и всегда был хороший!»

Глава пятая

Бабушка Евфросиния Ивановна пользовалась большим почетом в городе.

Урожденная Кирьянова, она была дважды замужем и оба раза за вдовцами, у которых, от первого их брака, были также дети.

Благодаря этому, ее родство и свойство было очень сложно и многочисленно.

По великим праздникам и в день ее именин «весь город» приезжал к ней на поклон и большинство состояло из родственников и свойственников, вплоть до самых отдаленных.

Сама она выезжать не любила, но изредка давала «вечера» и любила созывать к торжественным обедам. В сочельники, под Новый Год и на Пасху все сколько-нибудь ей близкие обязательно должны были трапезовать у нее.

По рождению она была, очевидно, из «столбовых», так как именье «Кирияковка», в несколько тысяч десятин земли, с соответствующим числом «крепостных душ», было ее родовым, наследственным именьем.

Первым браком она была замужем за Дмитрием Петровичем Кузнецовым. Он умер генерал-лейтенантом, состоя в должности инспектора морского кораблестроения, которое процветало в Николаевском адмиралтействе.

Я видел его портрет. Это был сухощавый мужчина, склада Александровских времен, в мундире, с высоким расшитым воротником, подпиравшим его красивое, бритое, с тонкими чертами, лицо.

«Кузнецовских» у бабушки в живых осталось двое: Всеволод и Аполлон Дмитриевичи, но у покойного от первого брака были: Александр Дмитриевич, Петр Дмитриевич и Елизавета Дмитриевна.

Из этих последних на памяти моей только Александр Дмитриевич и Елизавета Дмитриевна; Петра Дмитриевича, служившего в балтийском флоте и умершего в Кронштадте, я никогда не видел, но знавал впоследствии двух его сыновей.

Елизавету Дмитриевну, по мужу Иванову, (она уже вдовела) — «тетю Лизу» я знал очень хорошо и любил ее. У нее было уже взрослое потомство, когда я был ребенком. Три дочери и три сына. Кроме старшей дочери, которая была уже замужем и не жила в Николаеве, две остальные были девицы и обе уже «выезжали», а вывозила их в свет именно «тетя Люба», т. е. наша мама.

Елизавета Дмитриевна, преждевременно состарившаяся, была

большая домоседка. Она вечно была занята хозяйством: варила варенья всевозможных сортов, солила огурцы, приготовляла разные фруктовые пастилы и т. п., и снабжала всем этим и многих родственников.

Когда ей удавалось сестру и меня залучить к себе, то мама наша бывала в немалом страхе за наши желудки, боясь, чтобы мы не заболели. Угощения бывали непомерно обильны и чрезвычайно вкусны. Вареники с творогом различных наименований, равно как и вареники с вишнями, подаваемые со сметаной, были преимущественно ее гордостью. Но и кроме вареников, чего только не умела она, самолично, вкусно приготовить!..

Ее «девицы» беспрестанно, по соседству, забегали к «тете Любе» и охотно возились с нами, ее детьми. Одна из них, младшая, и была та «Леля» (старшую звали Любой), которая, однажды, напугала меня «старой жидовкой». Это не мешало нам быть большими приятелями, так как она была неистощимая «выдумщица».

Младший сын тети Лизы, Ваня, за неспособностью, не окончив курса морского корпуса, был определен юнкером в местный пехотный полк. Он жадно стремился к блестящим эполетам прапорщика и много и старательно трудился.

Средний, Миша, до моего появления на свет, утонул, купаясь в Ингуле. Тетя Лиза не могла забыть его и, казалось, любила его больше всех живых своих детей, вместе взятых.

Она нередко говаривала: «Мишечка мой был умница… Вот, Бог его к себе и прибрал!»

Старший из детей тети Лизы (Давид), флотский лейтенант, был гигантского сложения и роста и остался у меня в памяти в качестве какого-то сказочного Голиафа, когда в одну из зим, перед отбытием своим на Амур, через всю далекую Сибирь на «перекладных», он предстал перед нами в полном дорожном, на сибирский лад, облачении.

Он был весь в оленьем меху от головы до пят, так что казался даже страшным, хотя из под мехового колпака и меховых наушников, завязанных под подбородком, виднелись и его добрые глаза, и рыжеватые усы, сдвинувшиеся кверху от обычной его добродушной улыбки. Он ехал служить через далекую Сибирь, на Амур, как объясняла тетя Лиза нашей маме, чтобы получить «двойное содержание» и поскорее выслужить пенсию.

Тетя Лиза неизменно величала нашу бабушку «маменька», а ее дети «бабушка». И та, в свою очередь, была с ними совершенно «по-родственному».

«Маменькой» называл бабушку и Александр Дмитриевич

Кузнецов, ее пасынок.

Это был тип особенный, вполне — примечательный.

Ранее, чем мы с сестрой его увидали, наше воображение было уже потрясено домашними толками о нем. Мама, беседуя откровенно с Надеждой Павловной о нем, не раз договаривалась до того, что называла его «просто бешенным», но выражала надежду, что хоть под старость он угомонится.

Не скажу, чтобы я радостно стал ожидать его прибытия, когда для него стали готовить «малый дворовый флигель», отделенный от нашего дома только холодными сенцами.

Это казалось мне тем более обидным, что как раз незадолго перед тем в этом именно флигеле, по соседству с нами, жил некоторое время, «постоялец», «ополченский генерал», который оставил по себе очень хорошее воспоминание.

Этот «постоялец» появился у нас совершенно неожиданно.

Как-то в осенние сумерки, когда мама и все домашние, в том числе Надежда Павловна и «кузины» Люба и Леля, и даже сестра Ольга, рассевшись у круглого стола нашей столовой, щипали из полотна корпию и шили из тонкого холста бинты, а я глядел из окна на улицу, я вдруг увидел, что улица запружается все прибывающими откуда-то солдатами.

Тут не было бы ничего удивительного, так как целые полки, с музыкой или барабанным боем, нередко проходили мимо нашего дома, но это бывало обыкновенно утром, или днем, а теперь уже стемнело, и шли солдаты чересчур вольно, какими-то кучками, а не рядами. Было совсем не похоже на то, как должны идти солдаты в строю.

Еще я заметил, что у ворот попутных домов, кто-то отделял двух, трех солдат, ставил мелом палочки на воротах, и отделенные солдаты входили через калитку на двор.

Мне показалось это удивительно странным и даже тревожным и я обратил на это внимание присутствовавших, Все кинулись к окнам. Оказалось, по соображениям мамы, что, за переполнением казарм, это разводят по домам «на постой» партию проходящих через Николаев «ополченцев».

Вскоре бабушка прислала за Надеждой Павловной, а через несколько минут вызвали в большой дом и маму.

Иван («Ванька»), прилетавший с этими поручениями, объяснил, что «генерал от ополчения», со своим адъютантом и денщиком, определены к нам «в постояльцы».

Надежда Павловна уже спешно готовила все нужное в запасном, соседнем флигеле, а мама должна была принять пока нежданных гостей и пригласить их к ужину. Бабушке в эти дни нездоровилось, и она не могла к ним выйти.

«Кузины», после каких-то дипломатических сношений с «тетей Любой», также перекочевали в большой дом.

Мы, с сестрой, остались одни с Марфой Мартемьяновной и Матрешей и у них пошла речь о том, что «у нас война», что «народа уже невидимо перебито» и что «ополченцев гонят туда же на подмогу».

Глава шестая

Генерал, поселившийся в смежном флигеле, очень скоро совершенно приручил меня к себе.

Это был довольно плотный, среднего роста, живой и подвижный мужчина. Лицо, обрамленное седеющими усами и бакенбардами было веселое, доброе. Он при встрече всегда угощал меня либо мятными пряниками, либо леденцами, которые у него были всегда в запасе.

Он нередко захаживал к нам в гости и любил засиживаться с мамой, проводив ее из «большого дома», где он и его адъютант обедали и ужинали за столом бабушки.

Посадив меня верхом на свое колено, он начинал сперва слегка им потряхивать; выходило, что я еду рысью на лошади. Потом шел галоп ровный и плавный и тогда он протяжно, медленно приговаривал: «Вот так пан! вот так пан!» Потом вдруг начинал быстрыми, беспорядочными толчками трясти ногу резко и отрывисто и тогда, приговаривал, так скоро, что сам быстро запыхивался: «а так жид! а так жид!»

От тряски и смеха мне едва удавалось усидеть на его колене, но я просил его еще продлить удовольствие — и он снова переходил на рысь, галоп и т. д.

Генерал, его адъютант, усатый и уже не первой молодости капитан, и даже их денщик «Семка», также не очень молодой, были одеты не так, как одевались военные, которых я видел до сих пор. Они походили скорее на казаков, только казакины их были длиннее и шире и подпоясывались ремнями, а на невысоких барашковых шапках, вместо кокард, были металлические кресты.

По этому образцу, портной Аронка вскоре и соорудил мне тот костюм «ополченца», который заслужил одобрение не только генерала, по и бабушкиного лакея Ивана (Ваньки), большого знатока военного обихода.

Когда Иван зимою приходил к нам, чтобы нести меня и сестру в большой дом, к бабушке, он всегда удосуживался, пока нас снаряжали, выкинуть какой-нибудь «военный артикул» с помощью палки от половой щетки, которую он извлекал из чулана.

Это очень забавляло меня и я бывал в восторге, когда он начинал громко, отчетливо командовать себе: «смирно!», «на плечо!», «к ноге!», «на караул!» и т. п.

Он и генеральского денщика «Семку» стал допекать этим, уверяя что тот «деревенщина» и службу знает плохо.

Сам Иван, сколько знаю, рекрутчины не отбывал а,

насмотревшись на учения и парады, любил «представлять военных».

Уход ополченцев из Николаева, с генералом во главе, было событием в городе. Мы с мамой ездили проводить их за мост и, кроме нас, было еще несколько экипажей, провожавших их. Прощанье с генералом было очень трогательным, я втихомолку усиленно сморкался.

В связи с войной, о которой теперь только и было разговора, помню отчетливо событие из нашей детской жизни.

Однажды нас подняли с постелей гораздо раньше обыкновенного и спешно стали собирать в дорогу.

Куда? Зачем?

В деревню.

Я думал в Кирьяковку, где мы гостили у бабушки летом.

Совсем не то, — в Екатериновку, имение покойного отца, где мы не бывали и куда, в виду ее отдаленности от города (верстах в сорока, к северу), никто из наших не заглядывал.

К крыльцу нам подали мамину легкую, двухместную карету, в которой она обыкновенно делала визиты и выезжала на вечера, а не бабушкину четырехместную, громоздкую, в которой мы, на четверке деревенских лошадей, ездили в Кирьяковку и возвращались оттуда. И запряжена она была нашими лошадьми: Черкесом и Мишкой. На козлах был тоже наш Николай, со своей козлиной бородой и вытянутыми по возжам руками.

Марфу Мартемьяновну, сестру и меня усадили вглубь кареты, а Матрешу с корзиной и узлом на козлы, рядом с Николаем, для чего он должен был несколько сдвинуться с места, и я заметил, что сделал он это не совсем охотно.

Мама нас долго целовала и крестила, а Надежда Павловна, тем временем, запихивала в карманы кареты пакетики и коробки. Провожать нас высыпала почти вся дворня.

Наконец, Николай «тронул» — и мы поехали.

Как, т. е. какими местами ехали, не помню. Знаю только, что переехали не тот длинный плавучий и шаткий мост, который проезжали, когда ездили в Кирьяковку, а какой-то устойчивый мост через реку, не очень широкую.

Я почти всю дорогу ехал стоя, упершись в переднее окно кареты и глядя на задние ноги шибко и ровно бегущих лошадей. Я знал хорошо эту «мамину пару». Особенно я любил вороного Мишку, который бежал слева, не уступая правому, серому, в яблоках. Черкесу, который сначала всегда горячился.

К Мишке в стойло меня сколько раз вносил Николай и сажал на его крупную спину и я гладил его шею, а он все это мне позволял, потому что был очень смирный. Ехали мы, вероятно,

довольно долго, иногда Николай пускал лошадей пройти шагом, но мне нисколько не надоело глядеть в окно на лошадей.

И Марфа Мартемьяновна потом говорила маме, что я не капризничал всю дорогу.

Мне мог идти тогда четвертый год и вот, что я помню вполне твердо, и чего никто не мог мне рассказать.

Мы въехали в широкие, настежь раскрытые ворота и потом довольно долго ехали длинным пустынным двором, сплошь заросшим травой. Остановились у одноэтажного белого дома. Мы вышли из кареты, а Николай, оглядевшись кругом, отъехал в сторону и стал тут же отпрягать лошадей.

Я, разумеется, этим заинтересовался и, когда сестра, с Марфой Мартемьяновной, Матрешей и вышедшей нам на встречу старой женщиной, вошли в дом, задержался один на крыльце и стал глядеть на то, как отпрягают лошадей.

И вот, я увидел, как только что отпряженный Мишка, которого не держал ни Николай, ни стоявший тут же молодой парень, вдруг, со всех ног, пустился вдоль двора бежать по траве, красиво выгибая свой приподнятый хвост. Потом, он разом остановился, как вкопанный, потянул было свою морду к траве, но тут же раздумал, лег и стал валяться на траве, стараясь перекинуться через спину; но это ему не удавалось.

Когда парень бегом пустился за ним в погоню, он быстро вскочил на ноги, на ходу слегка поддал задними ногами так, что на солнце блеснули подковы, и крупною рысью побежал к Николаю, который, успев, тем временем, ввести Черкеса в конюшню, уже приманивал его к себе.

Впоследствии, каждый раз, когда я, вместе с Николаем, обсуждал это знаменательное событие, я убеждался, что Николай нисколько не обижался из-за него на Мишку. Напротив, он как бы поощрительно замечал: «родину свою почуял! Он тут ведь, жеребенком произрастал, ну и припомнил!»

Отправили нас спешно в Екатериновку, где мы пробыли всего два дня, как оказалось, вот почему: в разгаре «Крымской кампании» английские суда (или одно судно) пытались бомбардировать Очаков. Выстрелы были слышны в Николаеве. Опасались, не станут ли обстреливать и Николаев с его адмиралтейством и кораблестроительным запасом.

Мать и поспешила отправить нас в безопасное место, а сама осталась, чтобы, в случае надобности, ходить за ранеными.

Бабушкина Кирияковка на речке Буге была всего в 12 верстах от Николаева. Другое же ее именье Богдановка, — тоже на Буге, но в противоположную сторону, верстах в 20-ти от города, т. е. еще ближе к Очакову.

Вот и сообразили отослать нас подальше в совершенно безопасное место.

В «Екатериновке» со смерти отца, дом давно пустовал и там ничего не успели приготовить к нашему приезду. Хорошо помню, что мы там, с сестрой, повернутые головами в разные стороны, спали на одной очень широкой кровати. Марфа Мартемьяновна спала в той же комнате на клеенчатой кушетке, а Матреша в соседней на полу, куда ей принесли много сна, которое хорошо, но очень сильно пахло. На утро какие-то бабы принесли яиц, живую курицу, низко нам кланялись и о чем-то расспрашивали Марфу Мартемьяновну.

Какой-то «объезчик», который тут был за управляющего, предложил нам проехать «на ставок», где квакали лягушки и бродили свиньи. Возил он нас на безрессорной «найтычанке», запряженной парою вихрастых, нечищенных коней; нас очень трясло.

Старая «бабуся», которая жила при доме, готовила нам обед и начадила на весь дом.

Наконец, за нами прислали верхового «нарочного» и мы благополучно вернулись обратно.

Глава седьмая

Второй бабушкин муж, мой дед, по котором она сравнительно вдовела не так давно, был Петр Григорьевич Богданович.

У бабушки в будуаре, над ее заветным креслом, висел его большой портрет, который мне очень нравился, так как в его округлом лице было что-то необыкновенно приятное, напоминавшее мне нашу маму. Глаза, лоб и брови были как бы усиленно подчеркнутыми мамиными чертами. Но он был гораздо полнее мамы, у него уже был двойной подбородок, который мягко лежал на высоком воротнике его дворянского мундира. Лицо его было совершенно брито и только чуть вьющиеся, с сединкою, височки переходили в небольшие бачки.

Выписаны были на портрете и его руки, которые покойно лежали на письменном столе. Эти руки особенно мне нравились. Полнее и темнее маминых рук, он были так же красивы, заканчиваясь суженными к концам, продолговатыми пальцами.

А мамины руки я обожал и любил целовать их без конца.

В доме память покойного Петра Григорьевича была еще свежа; он умер, «от удара», внезапно, всего за год до моего рождения.

Он был местным помещиком, ему принадлежало большое именье «Богдановка», которое после его смерти было в пожизненном владении бабушки и считалось очень доходным.

Служил он некоторое время по гражданской части, дослужился «до генерала» и вышел в отставку, чтобы отдаться исключительно сельскому хозяйству. Когда он женился на бабушке, ему, больше его Богдановки, полюбилась бабушкина Кирьяковка и он с увлечением принялся за ее устройство.

Вместо прежнего одноэтажного, вытянутого в казарменную линию, дома он построил на новом, более высоком месте, большой барский двухэтажный дом, с колонами по фасаду, с обширным балконом и террасою под ним. Позади этой постройки он же насадил великолепный плодовой и ягодный сад, а перед домом разбил цветник и насадил кусты сирени.

Великолепные тополя с двух сторон балкона, достигавшие, когда я их увидел впервые, чуть ли не до крыши дома, были собственноручно посажены дедушкой, Петром Григорьевичем, о чем любила вспоминать бабушка.

Старый дом, с палисадником из акаций вдоль него, стоявший пониже, отошел под контору управляющего и служил запасным флигелем для заезжих гостей.

От первого брака у Петра Григорьевича Богдановича был

только один сын, который, ко времени его женитьбы на бабушке, был уже взрослым молодым человеком, служившим чиновником в Петербурге.

Я никогда его не видел, о нем вообще мало было слышно в нашей семье. От бабушки сыновей у него не было; но были две дочери: наша мама — Любовь Петровна и София Петровна — «тетя Соня». Тетю Соню мы узнали только позднее и очень ее полюбили, так как она, милая и добрая, была очень дружна с нашей мамой. Пока она жила в Петербурге и с мамой только переписывалась. Она была замужем за Николаем Андреевичем Аркас, который раньше служил в Черном море, но, получивши «флигель-адъютанта» за командование первым пароходом «Владимир», построенным на Николаевских доках, был переведен в Петербург и «должен был ездить во дворец к Государю».

Бабушка очень гордилась таким зятем, тем более, что кроме выдающегося успеха на службе, он довольно быстро разбогател. Вместе с Чихачевым, он был учредителем «Русского Общества Пароходства и Торговли» на Черном море; ездил в Англию заказывать и потом принимать заказанные для общества пароходы.

Когда позднее Н. А. Аркас был назначен главным командиром Черноморского флота и, вместе с тем, военным губернатором города Николаева, и навсегда распрощался с Петербургом, я был очень дружен с его двумя старшими сыновьями, Колей и Костей, которые были почти мои однолетки.

Из двух своих сыновей (Кузнецовских) от первого брака бабушка больше любила Всеволода Дмитриевича (дядю Всеву) и очень досадовала, что он принял службу в Петербурге.

Он и моя мать, как это было для всех ясно, считались ее любимцами. В связи с этим было и то, что мама и «дядя Всева» были особенно дружны.

Тотчас по окончании крымской кампании дядя Всеволод, овдовев, возвратился в Николаев, где получил в командование флотский экипаж.

Со своею крошкою, дочерью Нелли, он поселился не в доме бабушки, а на отдельной квартире, однако, каждый день навещал ее. Бабушка советовалась с ним о всех своих делах и была счастлива, что он навсегда разделался с Петербургом.

Впоследствии я узнал, что только по настоянию своей покойной жены, которая «не желала жить в провинции», он переехал в Петербург.

Жена его, Зинаида Михайловна, была польского, довольно аристократического происхождения, любила блеск и рассеянную жизнь. Это она заставила мужа принять первую попавшуюся

должность офицера морского корпуса, которою он очень тяготился.

Она же переименовала свою дочь из Ольги в «Нелли», находя, что чисто русское имя, выбранное бабушкой, которая была ее крестной, недостаточно благозвучно. Имя «Нелли» так и привилось к девочке.

На письменном столе дяди Всеволода, в бархатной раме, стоял рисованный акварельный портрет молодой женщины, с острым овалом лица и пышно взбитыми на голове светлыми волосами. Одета она была в домашний бархатный «шугайчик», темно-зеленого цвета, отороченный собольим мхом. Глаза ее глядели как-то в сторону, так что ни цвета, ни выражения их нельзя было уловить. То был портрет Зинаиды Михайловны, которая, по словам знавших ее, в том числе и мамы, была не столько красива, сколько эффектна, особенно на вечерах в бальном платье.

Из слов мамы я понял, что она не принесла счастья дорогому дяде Всеве и что он даже, и после ее смерти, должен был выплачивать какие-то ее долги, так как она была «большая мотовка»…

Дядя Всева был страшный добряк, это сейчас же было видно по его лицу и по всем его повадкам.

Я сразу стал большим его приятелем, так как он полюбил меня и очень баловал.

Он постоянно брал меня с собою «прокатиться», даже когда ехал на службу, в свой экипаж, а ездил он туда аккуратно каждый день.

Я заранее знал час, когда он, «по дороге», подъедет к воротам на своих дрожках и тотчас же выбегал ему на встречу.

Он говорил: «ну, адъютант, садись»! и мы ехали дальше.

Я преважно шествовал за ним по казарменному двору и по длинным коридорам самой казармы.

Скоро меня вызнали не только все офицеры, откормленные боцманы, но почти и все матросы «дядиной команды». Они ласково отдавали мне честь, когда встречали вне казармы, и я вежливо раскланивался с ними.

На парадах, которые были каждое воскресенье, в праздники и царские дни на площади, у гауптвахты и Адмиралтейского Собора, я всегда любовался «молодцами 42-го флотского экипажа», потому что это «наши» т. е. дяди Всевы матросы.

Его самого я рад был видеть, по временам, верхом на рослом гнедом коне, покрытом барашковым черным чепраком, когда на больших смотрах он ехал впереди своего экипажа. Он казался мне тогда настоящим кавалеристом, хотя весь белый арабской крови

«Алмаз», изображенный на портрете отца, со своим седоком, настоящим кавалеристом, был, конечно, эффектнее.

Сестра и я очень полюбили маленькую Нелли, которая была некрепкого здоровья, и часто навещали ее, что всегда оживляло и радовало дядю Всеволода.

Мама также нередко заезжала поглядеть, все ли там в порядке, а когда Нелли хворала, проводила там многие часы.

Дядя Всеволод имел особый дар привязывать к себе всякую детвору. Во дворе того дома, где была его квартира, был мальчик, Филька, лет двенадцати. Он повадился «услужать барину» и бегал за ним, как собачонка, после того как «барин» отнял его от отца, — дворника дома, который, когда напивался, беспощадно избивал его.

Дядя Всеволод не только дал Фильке приют у себя, но и стал посылать его в школу.

Позднее, когда дядя Всева жил уже с нами и бабушки в живых уже не было, именно по поводу этого Фильки, которого ему удалось определить в адмиралтейство, «по механической части», он однажды разоткровенничался со мною, вспоминая свое собственное детство.

— Поверишь ли, Колечка, — волнуясь говорил он мне. — Каждую субботу, чуть только я возвращался из школы, меня секла маменька пребольно, собственноручно. Велит спустить штанишки, загнет мою голову, стиснет ее своими колунами так, что не шевельнешься, и даст розог пятнадцать, а под сердитую руку и все двадцать пять.

Худо ли, хорошо ли учился, все одна честь. Пришла суббота, — получай свое!

Тошно было домой идти… Мучился, сколько раз раздумывал, не кинуться ли в Ингул, по крайней мере один конец.

Как Бог от греха уберег, — сам не знаю…

Спасибо покойному Петру Григорьевичу, царство ему Небесное! Если бы не он, не выдержал бы, кинулся бы в речку… Когда за него вышла маменька замуж, он разом эту манеру прекратил.

Добряк он был! Я его больше отца родного почитал, да и он полюбил меня.

По началу, бывало, как в субботу из школы прийдешь, прямо к нему в кабинет, — он и говорит: «отсидись пока, тут она тебя не достанет»!

Потом к столу, к обеду, сам за руку меня ведет и прямо к маменьке: «он у тебя молодец, я его проэкзаменовал, учится исправно». А потом ко мне: «целуй маменьке ручку, ну, живо, будем обедать, чай проголодался!» Так и избавлял меня… И ее

отучил, не позволял детей пальцем тронуть…

А ведь, поди, любила меня… После, как вырос, даже не в пример прочим, уважала и баловала меня. Царство ей небесное, а как вспомню, веришь ли, и сейчас на душ жутко становится…

Невыразимое никакими словами чувство обиды возникало в моей груди при этих словах седеющего милого «дядюхи», которого я живо себе представлял моим однолетком, переносящим тяжкие муки…

Хорошо, что бабушки не было уже на свете, иначе я возненавидел бы ее.

Глава восьмая

Александр Дмитриевич Кузнецов, бабушкин пасынок, по окончании войны, также вернулся в Николаев и поселился в том малом флигеле, рядом с нашим, где пожил недолго «генерал-ополченец». Во время Крымской кампании был не в Севастополе, а где-то на Дунае, где командовал отрядом военных судов. Ранее он очень отличился, командуя парусным кораблем «Ростиславом», в Нахимовской эскадре, которая победоносно уничтожила турецкий флот у Синопской бухты. За участие в Синопском бою у него на шее висел Владимирский крест с мечами, с которым он никогда не расставался. В его храбрости и, вообще, в том, что он был превосходным моряком, никто не сомневался, Подчеркивали также его ригористическую честность в отношении казенного имущества, что далеко не было общим правилом тогда во флоте. В заслугу ему ставили и то, что он оставался верен парусам, пренебрежительно отзываясь о паровых судах, которыми пришлось ему командовать на Дунае.

Но утверждали все, что на службе это был лютый зверь, а не человек.

При своем бешенном нраве и педантичной требовательности по службе, он «порол матросов нещадно», офицеров же сажал за малейшее упущение под арест, причем изругивал неистово.

В Николаев он вернулся адмиралом, только что выпущенным в отставку, «с мундиром и пенсией».

Вместе с адмиралом приехал с Дуная и его бывший денщик и вместе повар, Федор Хохлов, получивший к тому времени также «чистую».

Он был помоложе Александра Дмитриевича, но странно походил на него всем внешним обличием своим. Немного пониже его ростом, своею походкою на растопыренных слегка ногах, словно в ожидании качки, круто закрученным хохолком волос над самым лбом и серо-оловянными глазами, как будто никуда не глядящими, он был вылитый портрет самого адмирала. Только волосы на его усах и бачках темнели еще своею естественною чернотой, а не были густо, иссиня-черно, нафабрены, как у адмирала.

Александр Дмитриевич звал его «Федей» и Федя, казалось, был весьма ему предан. Он был единственной прислугой адмирала; никто больше «не допускался» к нему ни для каких услуг. Федя убирал его три комнаты, «ходил» за ним и готовил ему обед, который подавался, минута в минуту, в 12 часов «по адмиральской пушке».

Вставал адмирал «с петухами», очень рано и ложился спать «с курами», также рано.

Каждое утро он «заходил в церковь перекрестить лоб», а по воскресеньям и праздникам отстаивал и утреню и обедню в адмиралтейском соборе, причем стоял в алтаре и нередко делал замечания священнослужителям, если усматривал какие-либо непорядки.

Он придавал большое значение «моциону» и много ходил, гуляя всегда по одной и той же аллее на бульваре или по «бульварчику» перед нашим домом. Если какой-нибудь встречный матрос не отдавал ему во время «чести», или не сторонился на его дороге, он без церемонии пускал в него палкой, или зонтиком, и изругивал его, как последнего.

Одевался он всегда очень легко и своеобразно. Поверх отставного сюртука (без погон) летом он надевал люстриновую темно-серую пелеринку, а зимой в рукава холодную «Николаевскую шинель», без мехового воротника. На голове у него всегда была форменная фуражка старинного образца, с кокардой.

По части гигиены у него была своя формула, которую он любил всем внушать: «держи ноги в тепле, голову в холоде, а брюхо в голоде».

За четверть часа до обеда адмирал обязательно бывал уже у себя. Летом у него было занятие, которому он предавался со страстью: он избивал мух своим носовым платком и добивался того, что в его спальне не было ни одной мухи.

После обеда Федор закрывал наружные ставни адмиральского флигеля; это обозначало, что адмирал будет отдыхать.

Часов около трех тот же Федя появлялся с кипящим самоваром, ставил его на крыльце у входа во флигель, раскрывал наружные ставни, а затем входил с самоваром в адмиральские покои.

В начал пятого часа адмирал снова отправлялся на бульвар, где к этому времени на «адмиральской площадке» собирался целый синклит отставных моряков.

Бульвар тянулся вдоль реки Ингула, по которому сновали суда, по направлению к адмиралтейству и обратно. Паровые суда и суденышки, их командиры и вся команда подвергались самой беспощадной критике зорких наблюдателей. Все никуда не годилось: командиры «приставать не умели», матросы «гребли как бабы», а «паруса ставили, как прачки развешивают белье», офицеры — шаркуны и фанфароны.

Величайшее торжество наступало на «адмиральской

площадке», когда удавалось наблюсти хотя бы самую легкую «аварию», а уж если пароход неуклюже врезывался колесом в пристань и колесо трещало, то оживленным пересудам не бывало конца.

Все эти отставные капитаны первого ранга и адмиралы обязательно носили форму, им присвоенную, и в случае манкировки молодыми офицерами в отдании им чести, тут же распекали их громогласно, не стесняясь присутствием дам.

Наблюдая, по-видимому, вполне добрые отношения адмирала к его «Феде», я начинал сомневаться, точно ли Александр Дмитриевич был таким зверем на службе, каким его расписывали.

Познакомившись ближе с Федором, который не тяготился моей болтовней, я стал расспрашивать его о прежней службе, о том, где он побывал и каково было его начальство.

Вначале он видимо отмалчивался, ограничиваясь короткими фразами, вроде: «ничего, служили», или «всего видали».

Но однажды, когда я заговорил об адмирале и о том, что он был, как говорят, зверем на службе, Федор обмолвился: «шкур много со спин спустил, что и говорить», и тут же прибавил — «ничего, вторые наросли»!

Но я не отставал, хотелось знать: неужели он и его, Федю, с которым теперь так ласков, тоже наказывал?

Федор помялся, а затем, побагровев, признался, что тоже «получил линьков не мало», и тут же прибавил: «да, ведь, он бешенный, что с него спрашивать…» Еще он обмолвился, что особенно жестоко его наказал адмирал однажды, когда они стояли с судном в Феодосии за то, что он пошел без спроса готовить к купцу на свадьбу и к утру был не в порядке. С тех пор, прибавил Федор, «в погоду всю спину ломит».

Меня всего трясло при этом рассказе и я, волнуясь, спросил его: «как же вы остались у него служить»?

— А чего не служить. Теперь я вольный, теперь не смеет… Да и он обошелся, тоже привык…. Жалованье аккуратно платит, — объяснил мне Федор.

Что Александр Дмитриевич был действительно «бешенный», этому были и явные доказательства.

Раз, когда мы с сестрой уже подросли и обедали в «большом доме», при нас разыгралась такая сцена.

К обеду, по какому-то торжественному случаю, был приглашен Александр Дмитриевич и кое-кто из родственников. О чем шла за обедом у «больших» речь, разумеется не помню, но было шумно, о чем-то спорили, все, как мне казалось, нападали на Александра Дмитриевича, а он с ними не соглашался.

Вдруг он, весь побагровев, вскочил из-за стола, с шумом

отодвинул стул, кинулся к выходной двери и сильно хлопнул ею за собой.

Все остолбенели, а бабушка ему вслед пустила: «головой»!

После обеда мама, очень взволнованная, заходила к нему и говорила потом, что застала его лежащим в постели с холодным компрессом на голове.

На другой день он ходил к бабушке «просить прощения» и, говорили, становился перед нею даже на колени.

От приливов к голове он избавлялся только «фонтанелями», которые ему цирюльник Иван Федорович — армянин открывал то на одной руке, то на другой. Лекарской операцией перевязки «фонтанелей» заведывал неизменный Федя.

Александр Дмитриевич терпеть не мог докторов и никогда к ним не обращался.

Когда бабушка стала прихварывать, она завела «домашнего врача», славившегося в то время в Николаеве морского врача, Антона Доминиковича Миштольда. Старик Мазюкевич, который «по- родственному» лечил раньше нас всех, к тому времени уже умер.

У Антона Доминиковича были две страсти: считая себя преимущественно оператором и не имея случая оперировать в морском госпитале, так как там был другой хирург, он очень любил хотя бы приватно «что-нибудь порезать», затем очень любил балагурить и шутить.

Первая страсть привела его неожиданно к крупной неприятности.

У адмирала Александра Дмитриевича издавна на самой верхушке кончика носа была небольшая затверделая шишка, которую он, для красоты, чернил, как чернил и свои жидковатые волосы на голове и усы и бачки.

«Доминикич» (так, попросту, мы, дети, звали нашего доктора) долго приставал к адмиралу, чтобы он позволил ему «тронуть ланцетом» его «шишечку», чтобы «выпустить кашку» и освободить совершенно правильный нос от неуместного придатка.

Долго не сдавался Александр Дмитриевич, к которому Доминикич, в качеств «домашнего для всего дома врача», считал своим долгом по воскресеньям заходить перед «адмиральским часом» выпить рюмочку водки и закусить горячим растегаем. Неожиданно для всех, вдруг «адмирал сдался», желая отделаться от своей шишки.

В день, когда «операция» была произведена, Доминикич торжествовал. По его словам она удалась на славу, крови почти не было пролито, вышла, как он и предсказывал, только «белая кашка».

Несколько дней адмирал не выходил вовсе, имея какую-то нашлепку на носу.

Наконец пришел срок снять ее, для чего вновь предстал перед ним торжествующий оператор.

Когда повязка была снята, адмирал немедленно потребовал, чтобы ему подали зеркало.

Затем, по обстоятельному пересказу «Феди», события приняли такой оборот:

Адмирал, увидав свой нос, на котором вместо прежней шишки, образовалась довольно глубокая ямка, побагровел. Он обрушился на Доминикича с непечатною бранью и выгнал его вон со словами: «чтобы духа твоего у меня больше не было, польско-жидовская морда».

Опешивший оператор пулей вылетел от него, успев, однако, обнадежить адмирала, что ямка, со временем, «восполнится» и нос будет гладкий.

Предсказание это исполнилось только отчасти, ямка, хотя и неглубокая, навсегда сменила прежнюю шишку.

Александр Дмитриевич никогда не простил этого «Доминикичу» и постоянно жаловался: «поганый докторишка, далась ему моя шишка, теперь обезобразил мне нос».

С Александром Дмитриевичем бывали и странные припадки молниеносного характера; из них один случился с ним в моем присутствии.

Он очень «уважал» нашу маму, оказывал ей всегда внимание и почтение и любил иногда заходить «побеседовать».

Однажды он был у нас и, дымя своей толстой папиросой в мундштуке, мирно беседовал, расхаживая, по своей привычке, по комнате из угла в угол. Вдруг, внезапно, речь его оборвалась на полуслове, он продолжал ходить, но мундштук выпал у него из пальцев в одну сторону, а папироса в другую, лицо его побагровело, он, видимо, был в полном забытьи.

Длилось это всего несколько секунд.

Затем, как бы ничего не произошло, он нагнулся, поднял папиросу, вложил ее в мундштук и, дымя по прежнему, продолжал прерванный разговор.

Благодаря всему, что я знал об «адмирале», у меня было к нему какое-то глубокое внутреннее недоверие, смешанное с инстинктивною опаскою. Но мы с сестрой никак и ни в чем, не могли бы пожаловаться на него. Он с нами был всегда приветлив и ласков, шутил и балагурил. Сестру и меня он просил называть себя «дядей Сашей», но мы как-то умудрялись никак не называть его; про себя же продолжали звать его «Александром Дмитриевичем».

Каждое воскресенье мы с мамой заходили к нему, когда он возвращался от обедни, чтобы получить просфору, из которой были «вынуты частицы за здравья» мамы и наши. С подобной же просфорой он заходил сам к бабушке и затем уже шел к себе.

По воскресеньям у него на столе была всегда приготовлена закуска и горячие растегаи и он был рад угостить всех, кто в этот день навещал его.

У него была взрослая дочь (он был давно вдовцом) Елена Александровна, которая была уже замужем за большим добряком, командиром какой-то шхуны, капитаном 2-го ранга Артюховым. Он был известен в городе своим всегда ровным, невозмутимо спокойным характером. Его мы видели каждое воскресенье у Александра Дмитриевича, но иногда по месяцам не видели с ним его жены. Это обозначало, что она «в ссоре с отцом». Они часто, почти без причины, ссорились.

Мама, с которой Елена Александровна была довольно дружна, часто пеняла ей за ее неуживчивость. Мужа, безобидного и покладистого, она ни во что не ставила и распоряжалась им, как хотела, а со знакомыми у нее вечно выходили неприятности и «истории». Весь город знал, что Елена Александровна постоять за себя сумеет и что с нею нужно держать ухо востро.

Мы ее любили, с нами она была всегда ласкова и приветлива. Мама про нее говорила: «вся в папеньку».

Глава девятая

Второго своего сына, родного брата дяди Всеволода, Аполлона Дмитриевича Кузнецова, бабушка не одобряла за заглазную его женитьбу, пока он служил в Балтийском флоте. Он женился, вопреки ее желанию, на какой-то, неизвестной ей, особе и, притом, на шведке, протестантке.

Вскоре после окончания войны, он написал бабушке о том, что он меняет род службы и, желая жить «на глазах маменьки», хлопочет получить место губернского почтмейстера в г. Херсоне, который отстоит всего в шестидесяти верстах от Николаева. Это даст ему возможность часто навещать ее. Он просил и местного ее содействия. Переменить службу ему необходимо, так как семья его увеличивается и получаемых им средств уже не хватает.

Бабушка, в конце концов, одобрила этот проект и даже писала по этому поводу кому-то письма, которые диктовала маме.

В то время, при существовании почтовой гоньбы исключительно на лошадях, должность губернского почтмейстера считалась довольно видной и, почему-то, прибыльной.

Проездом в Херсон, несколько месяцев спустя, перебираясь на место нового служения, Аполлон Дмитриевич с семьею задержался некоторое время в Николаеве.

Он, с женою своею Грацией Петровной (у нее, как у протестантки, было несколько имен, но она настаивала на Грации, находя его наиболее благозвучным), поселились в доме бабушки, а дети (в то время их было трое: две дочери и сын), с их немкой бонной, разместились у нас.

Эти дети, и особенно старшая «Маня», года на три старше моей сестры, были поразительно красивы.

Когда обращали на это внимание и говорили об этом, Аполлон Дмитриевич торжествовал. Самодовольно улыбаясь, он неизменно заявлял: «от Аполлона и Грации разве могло быть иначе»?!

Сам он очень напоминал своего отца, с его тонкими чертами лица, и был действительно красив, пока не располнел и не обрюзг. Грация же Петровна выглядела пышащею здоровьем, с ярким цветом лица, привлекательной дамой. Но, почему-то, она любила говорить о слабости своих нервов, о мигренях и недомоганиях.

Мама и Надежда Павловна находили, что это с ее стороны «одно кривляние» и что этим она корчит из себя «светскую даму».

Мне Грация Петровна нравилась. Я с любопытством разглядывал ее и находил, что ее шуршащие шелковые платья,

которые она часто сменяла, очень шли к ней. Ее пепельно-рыжеватая, очень пышная шевелюра также казалась мне верхом изящества.

Дети (Маня, Женя и Тося, уменьшительное от Платона) вносили массу оживления в наш домашний обиход. Они и пели и танцевали очень забавно, чему, по-видимому, их учили.

Бабушка, к которой их приводили очень разряженными и завитыми и которой они однажды демонстрировали все свои таланты, причем Грация Петровна подыгрывала им на рояле, не одобряла такого «кривляния», и после не раз говаривала: «нашли чему учить, совсем ученые обезьянки»!

В тайнике своей шестилетней души я с этим никак не мог согласиться. «Обезьянки» решительно завладели моим вниманием. Особенно очаровательною казалась мне старшая-«кузина Маня». Она держала себя совсем, как взрослая, в сознании своей неотразимой привлекательности.

Она, действительно, была, оставаясь и в зрелом возрасте, настоящею красавицей.

Я едва смел целовать ее, причем ужасно волновался и долго потом переживал эти минуты блаженства.

Мой однолеток Тося, с которым я очень сдружился, (при расставании мы обещали «писать письма» друг другу), возбуждал во мне, несмотря на мое восхищение его талантами, некоторое ревнивое чувство.

Рядом с ним я чувствовал себя и увальнем и уродом.

С их отъездом наш дом очень опустел. Я нацарапал Тосе (не без помощи сестры Ольги) одно, или два, письма, вскоре же после их отъезда в Херсон, не столько из дружбы к нему лично, сколько из-за тайного желания, чтобы «кузина Маня», которую в письме я уже храбро целовал, не забыла о моем существовании.

Я еще долго без волнения не мог думать о ней.

Взрослые мои кузины Люба и Леля (дочери «тети Лизы»), как-то всегда умудрялись подметить, когда чье-нибудь женское лицо мне особенно нравилось, и они принимались тогда, в один голос, изводить меня своими приставаниями: «влюблен, влюблен!»

Я при этом всегда ужасно краснел, чего-то стыдился и искренно негодовал на них в такие минуты.

Уже раньше он допекали меня этим.

Неподалеку от нас жило семейство Пикиных, где было много девиц. Старшая из них, совсем взрослая девушка, высокая, стройная, с большими, красивыми синими глазами, на матово-смуглом, всегда, как будто, грустном лице, мне необыкновенно нравилась, хотя я видел ее только у раскрытого окна, когда нам приходилось проезжать или проходить мимо их дома.

Мне могло быть тогда лет пять, с небольшим.

И вот, неизменно я требовал, когда мы катались в экипаже, или в санях, чтобы мы несколько раз проехали мимо их дома, или когда шли на прогулку пешком, не сворачивали бы по направлению к бульвару, или гостиному двору, раньше их дома.

Девушка, в конце концов, заметила меня и стала улыбаться мне своею светлою, и вместе грустною, улыбкой.

Я не подозревал тогда, что этой милой, высокой и стройной девушке, которая мне так нравилась, суждено стать скоро «моей тетей», что она будет целовать меня, а я, краснея, буду потуплять при этом глаза, не смея на нее взглянуть.

А, между тем, так случилось.

Полицмейстером в Николаеве был в то время Владимир Михайлович Карабчевский, родной брат моего покойного отца. Раньше он служил в том же уланском полку, которым командовал отец, но затем, женившись, получил должность, которая, по общему отзыву, как раз соответствовала его распорядительности и энергии.

Он бывал у бабушки только в высокоторжественные дни, а мама, одно время, с ним «совсем раззнакомилась».

Из себя он был представительный и видный, хотя лицо его было обрюзгло и далеко некрасиво. Но им можно было залюбоваться, когда он несся по городу в своей легкой пролетке, запряженной отличным рысаком в корню и донским скакуном в пристяжку. Он имел тогда вид бравый, внушительный и все на улице невольно провожали его глазами и называли его «молодцом». Говорили, что на пожарах, куда он мчался почему-то всегда стоя в пролетке, придерживаясь за плечо кучера, он бывал великолепен своею находчивою распорядительностью. Все городские водовозы, со своими бочками, строились им правильной шеренгой чуть не до самой реки, а «качать» ручные насосы он заставлял, без разбора, всех, собиравшихся «поглядеть на пожар», ротозеев. Раз он, в числе прочих, захватил какого-то заезжего губернского чиновника и заставил его «качать воду». Тот тщетно протестовал, потом безуспешно жаловался.

Владимир Михайлович любил вспоминать, как он ловко при этом «отписался»: «на чиновнике кокарды-то, ведь, не было»!

Лично против него мама ровно ничего бы не имела и раньше он, по родственному, нередко навещал ее; но один случай с его первой женой надолго расстроил их отношения.

Владимир Михайлович в первый раз был женат на очень раздражительной и заносчивой особе и был всецело под ее влиянием.

Случай и вышел такой: в одном из магазинов (в Николаеве их

именовали «лавками») гостиного двора мама «присмотрела» какую-то понравившуюся ей шелковую материю, сказала приказчику «отложить» и повезла образчик показать бабушке. На следующий день она взяла весь кусок.

Оказалось, вскоре, что ту же самую материю «присмотрела» и Ольга Васильевна, жена полицеймейстера, и тоже велела приказчику «отложить».

Через несколько дней, когда она прислала за куском, его в магазине не оказалось, он был уже в кройке у маминой портнихи.

Хозяин магазина в отчаянии метался, не зная, какие привести оправдания, и всю вину свалил на приказчика, заверяя, что, вопреки его приказанию, приказчик перепутал и отпустил материю не супруге полицеймейстера, а ее однофамилице.

Этого оказалось достаточно, чтобы злополучный приказчик жестоко поплатился. По настоянию Ольги Васильевны его вытребовали в полицию и там телесно наказали розгами.

Помню живое возмущение мамы, когда она об этом узнала. Она тотчас же поехала к Владимиру Михайловичу, но не в дом его, а на службу, и там «подняла целую бурю».

Он сконфуженно оправдывался, уверяя маму, что его распоряжение не было понято: он приказал вызвать. приказчика «для расследования случая», а пристав понял, что его «следует выпороть».

Но мама не хотела слушать никаких оправданий, напрасно он силился целовать ей руки, желая успокоить ее.

Случай этот прошумел на весь город.

По инициативе мамы была открыта подписка между знакомыми, со сбором денег, «в пользу невинно пострадавшего».

Владимир Михайлович был очень смущен всей этой «историей», тем более, что к этому времени прибыл вновь назначенный военный губернатор Николаева и главный командир Черноморского флота, вице-адмирал, генерал-адъютант Богдан Александрович Глазенап, которого, заранее, прославили человеком гуманным и от которого ждали «новых порядков».

Новый правитель поспешил, однако, «замять эту неприятность», найдя в лице Владимира Михайловича ретивого и исполнительного полицеймейстера. Он даже стал, видимо, покровительствовать ему.

Вскоре Владимир Михайлович овдовел и ровно через год женился, во второй раз, на той высокой, смуглой, с большими, грустными глазами девушке, которую я раньше видел только издали и которая мне, еще ребенку, так полюбилась.

Ее замужеству предшествовало много домашних толков, которые заставляли меня задумываться и грустить по ней.

Кузины Люба и Леля, которым было известно решительно все, что творилось в городе, утверждали, что Лиза Пикина (это было имя моей будущей тети) давно влюблена в одного молодого красивого мичмана, такого же высокого роста, как она сама, но что отец ее, раньше богатый, разорившись на каких-то казенных подрядах, вымолил у нее согласие выйти замуж за полицеймейстера, который, как-то и в чем-то, мог бы помочь ему выйти из затруднительных обстоятельств и спасти всю многочисленную семью от полного разорения.

Эти сведения не только не умалили, в моих глазах, достоинств «новой тети Лизы», но, наоборот, усилили чувство глубокого волнения, которое овладевало мною каждый раз, когда я приближался к ней.

А эти случаи стали довольно часты, так как мама, поехавшая и на похороны первой жены Владимира Михайловича, не только примирилась с ним, но и согласилась быть его «посаженною матерью», когда он венчался во второй раз.

Новую тетю Лизу, которая очень ласково и внимательно отнеслась к трем малюткам Владимира Михайловича от первого брака, мама очень полюбила, часто у нее бывала и радушно принимала у себя.

Двое старших мальчиков, Василий и Платон, были чуть-чуть постарше меня и тетя Лиза часто звала меня и нередко сама увозила играть с ними.

Боже, как я бывал счастлив от каждого прикосновения к ней, к ее платью, перчаткам, меховому ее боа. Когда же она целовала меня, я весь загорался, у меня перехватывало дыхание.

Все окружающие замечали это, знали «про это» и Владимир Михайлович и добродушно поощрял: «ну, целуй, целуй свою тетю, я не ревную»! Но в душе я проклинал всех окружающих и самого себя в такие минуты за то, что не сумел укрыть от всех того, что было для меня так мучительно сладко. Только сама тетя Лиза, своим тихим, спокойным вмешательством всегда выручала меня, говоря: «моего милого мальчика оставьте в покое; мы старые друзья, я тоже очень люблю его».

В такие минуты я боготворил ее.

Глава десятая

Год, в который я пользовался наибольшей свободой, так как Марфа Мартемьяновна при нас больше не состояла, а гувернантка еще не приехала, я запомнил хорошо; с него и повел летосчисление.

Как сейчас помню первый рождественский сочельник, в который я впервые должен был ужинать у бабушки, со всеми «большими».

За стол не садились, ждали первой звезды, хотя все были в сборе. Это строго соблюдалось у бабушки.

Я выбежал на крыльцо, вслед за Иваном (Ванькой), едва накинув на плечи шубейку. Ему приказано было возвестить о появлении первой звезды на небе и я стал, с ним вместе, «искать звезды» на еще светлевшем небе.

Стояли тихие, чуть-чуть морозные, как бы подернутые легким туманом сумерки. Розоватое небо кое где уже начало густо сереть и, вдруг, разом потемнело и, в ту же секунду, появилась не одна звезда, которую мы искали, а вся масса звезд усеяла сплошь почерневшее небо.

Я опрометью бросился в комнаты возвестить о радостном событии.

Ужины сочельников проходили у бабушки всегда с особенною торжественностью. Все решительно родственники, даже самые дальше, бывали на лицо.

На этот раз я и сестра, Надежда Павловна и обе кузины — Леля и Люба, сидели за отдельным столом, но тут же в общей столовой, и все было видно и слышно.

Было светло, тепло и уютно.

Сколько подавалось разных блюд! Правда, все только постных, но превкусных. А на столах, в больших, искрящихся графинах, пенилось темное пиво и светлый мед. К праздникам эти напитки, изготовляемые в Кирьяковке, привозились в бочонках на воловьих подводах, вместе с ящиками, набитыми соломой, в которой были аккуратно уложены бутылки разных настоек и наливок.

Ни пива, ни вина мне не давали, но меда и вишневки дала мне попробовать Надежда Павловна.

Из числа блюд, подаваемых обязательно в сочельник, были традиционные левашники (род больших поджаренных варенников с вишневым вареньем внутри), взвар (из сушеных груш и чернослива) и рисовая кутья с изюмом и миндалем.

Когда за большим столом заговорили о том, что вот скоро и

новый год, я поинтересовался узнать, который это будет год. Надежда Павловна и кузины разом сказали: «пятьдесят восьмой год от Рождества Христова». Я запомнил и, по началу, думал, что так оно и есть, что Христос был на земле совсем недавно; мама уже мне растолковала про то, что к этому надо еще прибавить целую тысячу и восемьсот лет. Это меня, почему-то, опечалило.

С тех пор, как я запомнил то, что твердо знали все взрослые, т. е. который сейчас год и сколько мне самому лет (мне минуло шесть), я вырос в собственных глазах и не считал себя больше маленьким.

Этому много способствовало и то, как на этот раз прошли для меня праздники. Раньше для нас делали только «кукольные елки», которые ставились на круглый стол и мы сами с кузинами их украшали, а Надежда Павловна приносила сластей.

В этом году дело обстояло иначе.

Елка была настоящая, большая и не у нас, а у бабушки, посреди большого зала.

Было много взрослых, а детей мало; мне сверстника совсем не нашлось.

Было не очень весело.

Мама поиграла на рояле, и все чинно ходили вокруг зажженной елки.

Зато я был вполне вознагражден полученным с елки подарком.

Когда я только вошел в зал, я сразу его заметил и тотчас же подумал: не мне ли?

Как раз, оказалось, мне.

Это была лошадь, совсем как настоящая, большая, вся в шерсти, с седлом, которое можно было, отстегнув подпругу, снимать и вновь надевать.

Раньше у меня было много игрушечных лошадей, и в упряжке, и под седлом, но все были гораздо меньше. Эту же я едва-едва мог двигать, а вставив ноги в стремена, на ней можно было «ехать галопом», т. е. качаться сколько угодно.

Кроме «бабушкиной елки», было и еще кое-что новое в эти праздники.

Утром, в первый день Рождества, к нам впустили слободских мальчиков «со звездой».

Они ходили из дома в дом, вертели звезду и пели.

Я видел это в первый раз.

Большую бумажную звезду они сами смастерили, оклеили золотою бумагой и пестро разрисовали.

Когда они ушли, Матреша очень ворчала. Они наследили мокрым снегом и ей пришлось убирать за ними.

Священники и певчие из нескольких церквей приезжали к бабушке «славить Христа» и я теперь присутствовал при этом.

В день нового года я проснулся под звуки духовой музыки. Может быть так бывало и раньше, но я этого не помнил. Теперь же я, полуодетый, кинулся к окну столовой, выходившей во двор, и увидел, что посреди двора стояли кругом музыканты в флотской форме и один, с белой палочкой в руке, стоявший в середине круга, командовал, как им играть. Самый плотный из всего хора музыкант страшно надувал свои щеки, выдувая басовые ноты из огромной трубы, перекинутой через его плечо.

Музыка продолжалась довольно долго и вся дворня высыпала во двор послушать. Под самый конец вдруг заиграли «Боже Царя храни», мама мне сказала, что это музыка в честь нашего Царя. Из бывших во дворе кое-кто стал креститься; думая, что так надо, перекрестился и я.

В Крещение выпало нам и еще развлечение, самое памятное.

Бабушкин Иван («Ванька»), не малый выдумщик вообще, выпросил у мамы позволения «представить комедию» у нас в зале.

С несколькими приятелями, матросами дядиного экипажа, он затеял давно это дело и не мало суетился по этому поводу.

В день представления он был весь в хлопотах: собрал со всего дома самые разношерстные ширмы, ставил и переставлял их, пока, наконец, уставил их в одном из концов залы так, что выходила, как бы, комната, в самой середине которой он поставил одно золоченое кресло, взятое из гостиной.

Он объявил мне, что это будет «дворец Герцога». Потом он уставил несколько рядов стульев «для публики», а в самом первом ряду несколько кресел «для господ».

Мама, Надежда Павловна, две кузины, я с сестрой и заняли эти места.

Когда подъехал дядя Всеволод, с двумя молодыми офицерами своего экипажа, они сели рядом с нами.

Следующие ряды были заняты какими-то «соседками», со своей детворой. А дальше, почти у входа, сбившись в одну кучу, были на лицо все наши и бабушкины «люди». Тут были из девичьих все горничные, был повар Василий с женой своей Авдотьей, стряпухой для людей, был наш кучер Николай с женой Мариной, был бабушкин кучер Марко и гигантского роста Елена-прачка.

Были и еще, но всех не разглядишь. Пришел и «Федя-адмиральский», но самого адмирала не было, иначе он сидел бы с нами в первом ряду.

Еще я заметил «Аронку-портного», — и мудрено было его не заметить. Он пробрался вперед и так задирал свою голову, что его

жиденькая бородка смешно топорщилась на виду у всех.

Представление началось еще засветло так, что, когда актеры стали появляться, видно было, что бороды у них мочальные, а лица густо разрисованы.

На золоченное кресло сел «Герцог» и представление началось.

Сам Иван и еще другой, такого же как он роста, молодец стояли по бокам герцога; но они ничего не говорили. Только Иван делал иногда суетливые знаки туда, где, из-за невысокой ширмы, виднелась чья-то макушка и откуда, потом, выходили другие актеры.

У «герцога», одетого «по царски», в длинный синий балахон, усеянный оранжевыми треугольниками, на голове была корона «как настоящая», из золоченной бумаги. Иван же и его товарищ при герцоге, были в коротких, полосатых балахонах синего и оранжевого цвета, но штаны на них были собственные.

Я знал, что и синий и оранжевый коленкор дала Ивану Надежда Павловна, а шили балахоны в девичьей.

Что именно представлялось и чем все кончилось, я или тогда не очень понял, или теперь не помню. Но зато очень запомнил одну фразу, повторенную множество раз на разные лады.

Герцог говорил вновь появившемуся на его зов из-за ширмы актеру, одетому также, как Иван и его товарищ, с тою только разницею, что он был подпоясан и в руке у него был настоящий, матросский палаш.

«Пойди и приведи ко мне непокорного сына Адольфа»!

А тот, ловко выворачивая в руке обнаженный палаш, отвечал, становясь на одно колено:

«Пойду и приведу твово непокорного сына Адольфа»!

Затем он удалялся и возвращался вновь, ведя за руку безусого, одетого в оранжевую куртку, актера, на голове которого был красный кумачовый колпак, причем отчеканивал отчетливо:

«Пошел и привел твово непокорного сына Адольфа»!

Сестра запомнила эти слова и тотчас повернула их против меня.

Когда я не хотел сразу с нею в какую-нибудь игру играть, или за что-нибудь на нее «дулся», она, гораздо более меня сильная, подкрадывалась ко мне сзади, стискивала меня и, подталкивая вперед, влекла меня, куда хотела, причем непременно приговаривала;

«Пошла и привела непокорного сына Адольфа»!

Это меня смешило и я сдавался сразу.

Когда кончилась «комедия», которая всем понравилась, похлопали в ладоши. Я усердствовал дольше других.

После этого Иван, не успевший переодеться, лихо играл на

гармонике, а какой-то матрос, одетый «по мужицки» сплясал казачка и так бойко шел «в присядку», что всё ширмы дрожали и их другие актеры, повысунувшись, стали придерживать.

Мама благодарила «актеров», а Надежда Павловна пригласила их всех в чистую людскую для угощения.

На лице Ивана сияло торжество.

Он несколько дней еще после этого ходил не так, как всегда, а как-то «по актерски».

Участие Ивана в этом «представлении» меня очень с ним сблизило. Он стал в моих глазах чем-то особенным, отличным от остальной дворни. Он был очень сильный. Ребенком он чаще других носил меня на руках. Теперь же он охотно проделывал предо мною все свои артикулы, показывая разные фокусы на картах и строил гримасы, передразнивая кого угодно.

Глава одиннадцатая

В этом году я ближе познакомился со всеми нашими дворовыми людьми.

Как мне ни внушала, в свое время, Марфа Мартемьяновна, чтобы я «не шатался по людским и задворкам», находя это неприличным, я всюду любопытствовал и, при всяком удобном и неудобном случае, был с кучерами в конюшне или сарае, или беседовал с кем-нибудь из дворовых в людской.

Проделывать это мне было особенно легко как раз теперь; с уходом Марфы Мартемьяновны настало междуцарствие в ожидании выписанной из Франции гувернантки.

Я чувствовал, что везде меня принимают с ласкою и доверием и очень гордился этим. В «большую людскую» я любил заглядывать, когда смеркалось и там зажигали огни. Это знаменовало, что собираются к ужину.

Мне всегда предлагали «хлеба — соли откушать» и давали место на скамье у стола. Из огромной дымящейся «макитры» для меня вылавливали деревянной ложкой пару, другую «рванцев» или «галушек», которые я обожал и которые тепло, как-то особенно вкусно, проходили по всему моему телу.

К концу же лета и всю осень меня, обычно, угощали лучшим куском арбуза, который взрезывали тут же, заставив его предварительно потрещать под нажимом рук того, кто его держал и потом взрезывал. Так проверялось насколько он вызрел. Обыкновенно угадывали в совершенстве: «режь этот»! — скажет кто-нибудь — и арбуз оказывался кровяно-красным, сочным, с совершенно вызревшими черными семенами.

Ничего не может быть вкуснее сочного, холодного арбуза с куском только что испеченного, еще тепловатого ржаного хлеба.

Арбузы и дыни на многих подводах привозились из бабушкиных деревень и в большом погребе их были навалены целые кучи. «Люди» бесконтрольно могли их потреблять; их ели и в полдник, и в обед, и в ужин. К «господскому» столу подавались только отборные «туманы», или «астраханцы», хранившиеся в малом погребе, ключ от которого был «при буфете».

Когда Иван нес оттуда пару арбузов и дыню и, притом, бывал в духе, он умудрялся ловко ими жонглировать на ходу, подбрасывая их поочередно в воздух.

Делал он это, когда во дворе никого из «господ» не было. Меня он в «господах» не числил и знал, что я не доносчик.

И действительно, я как-то инстинктивно берег ревниво тайны моего общения с этим новым для меня миром, куда проникал как

бы украдкой и никому не болтал о том, что видел и слышал там.

А между тем, там у меня были свои симпатии и антипатии. Всех больше я любил нашего кучера Николая и не любил бабушкиного Марко. Сказать правду, последнего я даже немного побаивался и, кажется, ни за что не остался бы с ним наедине.

Марко был рослый, как-то «косо» весь откинутый назад и рябоватый с лица мужик. Он был неряшлив и бродил по черному двору, где при конюшне у него была своя коморка, «в чем попало», иногда даже босой, и только когда надо было «подавать» экипаж, одевался по-кучерски, но и то довольно небрежно: пояс редко «убористо» стягивал его армяк, а шляпа сплошь и рядом выглядела запыленной. Ему никто не помогал одеваться.

Наш Николай всегда был одет, как принято было в то время одеваться кучерам: в цветной ситцевой иди красной кумачовой рубахе, подхваченной поверх широких плисовых шаровар тесмянным поясом и в высоких «с гармониками» сапогах. Когда похолоднее — в синей драповой поддевке, а летом в легкой суконной, а по праздникам — в черной плисовой безрукавке.

Он был небольшого роста, но аккуратно и «убористо» всегда выглядел. Лицо у него было скорее красивое, с темно-каштановой, козлиного фасона, бородкой, а пышные, вьющиеся кудрями волосы, с пробором посредине, были подрезаны на шее «в скобку».

Когда надо было запрягать, чтобы «подать господам», практиковался раз навсегда налаженный ритуал.

Его жена Марина, также, как и сам Николай, любившая лошадей и часто бывавшая в конюшне, была ему в этом деле незаменимой помощницей. И ключ от решетчатой двери внутри конюшни, отделявшей владения Марко от владений Николая, всегда висел у нее под фартуком.

Редко, редко когда я не бежал в конюшню, а потом и в сарай, как только, бывало, заслышу, что Николаю «велено запрягать». Большею частью я сам первый же устремлялся объявить ему об этом и уже не покидал его до конца.

Прежде всего, он распахивал двери сарая, где стояли мамины экипажи и, продвинув вперед тот, который требовался, обтирал его мягкой суконкой.

Тем временем Марина была уже в конюшне и в чуланчике, где была развешена, на деревянных кольях, сбруя, обмахивала слегка запылившиеся хомуты, заранее уже, под глянец, вычищенные.

Надевались хомуты на лошадей в конюшне, всегда в одном и том же порядке. «Черкеса», который, когда ему подносили к морде оголовок, всегда норовил задрать повыше голову, обряжал

сам Николай, отпрукивая и урезонивая его. А на «Мишку», который, видимо, сразу понимал, чего от него хотят и, спокойно просовывая морду в оголовок, чуть ли не говорил: «ну, что ж, коли надо одевай»! — легко и быстро одевала хомут Марина.

Этому предшествовало еще обтирание лошадей суконкой с головы до ног. И тут та же история: Марина в один миг, бывало, пройдет всего Мишку и он даже ухом не поведет, а Черкес, как только дело дойдет до щиколоток ног, непременно сощулит уши и норовит ухватить зубами оттопыренную мотню шаровар нагнувшегося Николая.

С заднего двора на чистый, где был экипажный сарай, пританцовывавшего Черкеса вел всегда, на коротком поводу, Николай, а Марина вела (а то давала и мне вести) мирно любопытствующего Мишку, давая ему идти свободно.

И запрягать лошадей и обряжать самого Николая всегда помогала Марина.

Раньше чем взобраться на козла, Николай всегда оглядывал себя в маленькое зеркальце, висевшее в сарае, и садился не раньше, как убедившись, что он в полном порядке.

Бабушка ценила своего Марко исключительно за то, что он «непьющий» и ездит с нею «осторожно». В город она редко выезжала и довольствовалась ежедневными прогулками по «чистой» части сада, где дорожки содержались в исправности и посыпались песком.

На ее лошадях часто ездила Надежда Павловна по магазинам, а в базарные дни на базарную площадь и, по ее словам, с нею Марко вовсе не ездил осторожно, а стегал лошадей и гнал немилосердно.

Этой паре рослых серых, почти совсем побелевших под старость, коней жилось совсем не сладко.

Я сам видел, как Марко грубо и жестоко с ними обходился: то ударит которого-нибудь под брюхо ногой, то возьмет арапник и начнет стегать их поочередно в стойле, то одного, то другого. Несчастные мечутся, громыхают в своих стойлах, рады бы кинуться через ясли вперед, но за яслями глухая стена.

Я не мог глядеть на это и тотчас убегал прочь, ненавидя и проклиная Марко.

В деревне у бабушки было много лошадей и был там хороший кучер, старик Игнат, но в городе она держала только эту пару Марко.

Николай порою не выдерживал и выговаривал Марко:

«Марк Савельич, что вы с них спрашиваете? Видь, поди, за 15 годов каждой перевалило. Нечто хорошо так!.. Ведь скотина тоже!..» А Марко язвительно отвечает ему: «я господ, слава Богу,

не калечил, этим делом не займаюсь… А коли не давать клячам острастки, оне и вовсе не побегут».

Николай тотчас же конфузливо умолкал. Я очень понимал его, так как вполне разумел жестокую язвительность намека Марко по адресу бедного Николая.

При всей щеголеватой исправности его, как кучера, и любви к лошадям, он имел несчастье иногда запивать и однажды, в таком его состоянии, с ним приключилась большая беда, едва не имевшая трагического конца, и наложившая неизгладимое пятно на его кучерскую репутацию.

Он выпивал редко и, так как хмель как-то не сразу разбирал его, не всегда можно было во время заметить, что он пьян. Так, по крайней мере, объясняла маме жена его Марина.

Однажды, возвращаясь с нашей мамой и двумя ее племянницами из Морского Собрания, где девицы танцовали, Николай, которого окончательно «разобрало» от долгого ожидания, вывернул экипаж на какой-то шальной тумбе. Девицы отделались легко, а маме рассекло грудь и исцарапало щеку; ее, почти без чувств, привезли домой случайно подъехавшие, возвращавшиеся тоже из Собрания, знакомые.

Когда мы, с сестрой, увидели ее на другой день, то пришли в ужас и горько плакали.

Еще через день мы присутствовали при такой сцене: совершенно протрезвившейся Николай валялся в ногах у матери; тут же стояла, горестно подперши ладонью свою щеку, Марина и громко вздыхала, а мама, открыв свою забинтованную грудь и показывая глубокие царапины на своей щеке, спрашивала Николая: за что он ее покалечил и даже мог убить?

Николай, хныча, бормотал что-то несвязное, кланялся ей в ноги и просил прощения.

Тем временем подъехал дядя Всеволод. Извещенный о случившемся бабушкой, он имел от нее наказ строго наказать «пьянчужку», хотя этот «пьянчужка» был крепостной мамы (из Екатериновки), а не бабушки.

Сильно возвышая голос и стараясь делать грозное лицо, дядя Всеволод объявил Николаю, что он будет немедленно отправлен «в экипаж», где им уже дано распоряжение: выпороть «убийцу и пьяницу» так, чтобы он забыл не только пить водку, но и нюхать ее.

Тогда я и сестра, жалея Николая, начали громко плакать. За нами стала голосить Марина, взвыл и сам Николай.

Мы кинулись к маме, стали обнимать и целовать ее, умоляя простить Николая. Марина поймала ее руку, а Николай, ухватив край маминого платья, стал покрывать его своими мокрыми от

слез поцелуями.

Дядя Всеволод начал жмурить свои серые, с голубизной, глаза, а затем, повернувши совсем спину, стал упорно глядеть все в одну точку, в окно.

Мама была расстроена и тяжело дышала. Наконец, с дрожью в голосе сказала, отстраняя от себя Николая:

— Бог с тобой, я тебя прощаю. Дети не позволяют мне тебя наказать, хотя ты этого заслуживаешь. Сходи в церковь, помолись за них и за то, чтобы он простил тебе твой грех… ты мог убить меня!

Когда Николай после бесконечных благодарений и заверений вышел, мама, задержав Марину, сказала ей: «а ты, глупая, предупреждай, по крайней мере, когда твой муженек пьян.»

На это повеселевшая Марина, которую Николай во хмелю иногда и поколачивал, бойко отвечала: «беспременно стану докладывать, не смела покудова»..

Несказанная общая радость овладела нами.

Я кинулся к дяде Всеволоду, а он, ухватив мои руки, стал кружить меня вокруг себя.

Мама, прикрыв свою грудь, отвернулась к окошку и, не глядя на сестру, которая ласкалась к ней, тихонько похлопывала ее рукой по плечу.

Потом, с сестрой, мы убежали к себе и так «бесились» весь этот день, что с нами не было никакого слада.

Это был единственный случай, когда Николай так очевидно проштрафился.

Но скоро, когда мама оправилась, все в доме о нем забыли, кроме Марко, который не упускал случая кольнуть им Николая.

Николай на это, махнув рукой, умолкал. Я страдал за него и в такие минуты забывал, что он расшиб маму, и чувствовал только его жгучую обиду. Он был добрый, иначе не холил бы так и не берег не только «Мишку» и «Черкеса», но и старого (еще отцовского), рысистого жеребца «Митридата», которого редко запрягали, только в одиночку, «для тихой езды» и держали на конюшне «доживать свой век».

Николай, по его собственным словам, «вырос в конюшне». Он очень гордился пройденной еще у покойного моего отца «выучкой» и был не только искусный кучер, но и большой знаток и любитель лошадей.

Смертельной обидой было бы для него, если бы его вздумали «обойти», когда он «шел» на своей паре, или в одиночку на «Мишке».

Когда я уже подрос, я по его указанию выпрашивал у мамы позволения прокатиться с Николаем на «Мишке», в легких

«проездных» бегунках по Купеческой улице. По праздникам там бывали людные катанья и импровизированные состязания «на собственных» рысаках.

«Мишку» знали все кучера и «охотники» в городе и очень хотели бы его «обойти», но это им никогда не удавалось.

Стоило посмотреть, как «Мишка» отчетливо и ровно чеканил мускулистыми задними ногами. Николай торжествовал: «налегке ему ни почем… Поклонись на прощание»!.. пускал он по адресу отставшего бегуна.

Действительно, «Мишка» был конь замечательный и по резвости и по выносливости.

На правой его ляжки была характерная отметина: довольно углубленный рубец, плохо обросший дымчатой шерсткой.

Николай объяснил мне, откуда взялся у «Мишки» рубец. Еще двухгодовалым «в ночном» «Мишка» подвергся нападению волка и, с окровавленным задом, все-таки, отбился от него.

Выхваляя «Мишку», Николай никогда не упускал случая повторить то, что я от него слышал уже много раз:

— Ведь он у нас доморощенный, в Катериновке у папаши покойного вашего на первом счету был. Лошадь, можно сказать, золотая, особенная… Сами видали, кто его в городу обойти может, а ведь тоже лошади не плохие…

А ход тебе какой: сырое яйцо положи ему промеж ушей, не уронит. Папенька ему, масть в масть, и пару подобрал, тоже вороной… Ну куда, и году не потрафил, — загонял его «Мишка»… «Черкеса» второго заганивает, а ведь из-за хода только и польстились. Уж куда тут! Истинной пары ему не найти.

Во двор все знали, что «Мишка» лошадь «особенная». Когда Николай подавал к крыльцу, не было случая, чтобы мама, сестра и кто бы ни садился в экипаж, не заметил и не приветствовал «Мишку». Кто только не давал ему сахара!

Даже тот случай, когда пьяный Николай вывернул маму, и тот послужил к прославленно «Мишки».

Если бы не «Мишка», мамы не было бы в живых. Когда подбросило экипаж о тумбу, «Черкес» ошалел и метнулся подхватить, но «Мишка», сразу поняв в чем дело, уперся как вкопанный и не дал ему понести.

Если бы лошади тогда понесли, не уцелел бы никто.

Выходило ясно, как Божий день, что «умный Мишка» спас жизнь нашей мамы.

Понятно, поэтому, что он, в сущности, был членом семьи нашей, а вовсе не лошадью.

Сам Николай и тот хорошо сознавал услугу, тогда ему «Мишкой» оказанную.

Он пресерьезно и обстоятельно пояснял:

— Кабы тумба слева пришлась, он («Мишка») завсегда бы ее обошел, а то она справа, ему и не видать, а тот («Черкес») прет куда ни попало, не разбирая… Спасибо «Мишке», он ему подхватить не дал, я сам бы живой не остался.

Николай и «Мишка» были самыми большими моими приятелями из всего двора, но и все обитатели, более или менее, дарили меня своим приветливым вниманием. И я чувствовал себя легко и радостно в общей атмосфере ласковой приязни.

Глава двенадцатая

Как я научился грамот, и на каком году — не припомню. Всего вероятнее, что азбуке и складам научила меня сестра по буквам на картонных квадратиках, которые я складывал и раскладывал.

К этому времени две старые девицы Ильины, сестры «ученого моряка», славившегося своим каким-то изобретением по устройству пловучих маяков, открыли в Николаеве детскую школу, под названием «Детский сад».

Сначала он хотели принимать только девочек, но мама ездила к ним и они согласились, чтобы я, вместе с сестрой, также посещал их школу.

Всю зиму я был там единственным «учеником» среди целой стаи более меня взрослых «учениц».

С ними было очень весело, хотя ни одна из них мне не нравилась так, как нравились мне, например, «кузина Маня» или «новая тетя Лиза».

Во время рекреации, под наблюдением наставницы, устраивались разные игры, водились хороводы, пелись хором песни.

Особенно оживленно всегда проходила игра в «кошку-мышку».

Меня девочки тормошили ужасно. В качестве «кота» загонивали до того, что я садился в кругу на пол и не хотел больше никого ловить.

Тогда они все кидались ко мне, тащили из круга и говорили, что «мыши кота хоронят».

Всегда было весело и я, отчасти даже горделиво, старался быть на высоте своего исключительного положения.

Чему нас там учили — не очень припоминаю, помню только, что арифметику учили «по палочкам», которые раскладывали на столе и потом считали, то откладывая, то прикладывая по несколько палочек. Еще что-то мы изучали на кубиках, разноцветных шариках и картонных фигурах.

Сестры Ильины принимали в свою школу только малолетних и были пионерами, так называемой, «фребелевской» системы преподавания.

На следующую зиму я, опять таки, был единственным учеником в «пансионе г-жи Субботиной», где все ученицы были постарше не только меня, но и сестры.

Сюда мама нас устроила приходящими, главным образом, ради французского языка и грамматики, которые преподавала

сама же Субботина, русская, но долго жившая заграницей. Муж ее служил где-то в посольстве и умер; она же была родом из Николаева.

Здесь мои соученицы совсем меня забаловали: угощали пирожками, конфектами; каждая хотела, чтобы я, за уроком, «посидел» подле нее.

В этом «пансионе для девиц» мы оставались недолго, только до весны, так как к лету, прямо из Франции, пароходом через Марсель и Одессу, должна была прибыть к нам в дом француженка-гувернантка, не говорящая по-русски.

Это ожидание было огромным событием в нашей детской жизни. О нем много говорили и домашние.

Бабушка несколько раз говорила по этому поводу маме: «надеюсь, не из Парижа ты ее выписала»?

Мы знали, что по рекомендации директрисы Одесского Института для благородных девиц, дальней нашей родственницы, мама уже списалась с «вдовою Жакото», проживавшей в Baumes-les-Dames близь Безансона, и что старшая ее дочь Клотильда, недавно прошедшая курс «Ecole Normale» в Безансоне, решилась ехать в Россию, чтобы стать нашею гувернанткою.

Мама очень стояла на том, чтобы мы изучали языки. Когда ушла от нас Марфа Мартемьяновна к дяди Всеволоду, нянчить Нелли, мама взяла к нам, в качестве приходящей бонны, англичанку, дочь местного переплетчика Милам, родившуюся уже в России. Мисс Элиза оказалась больше по названию «англичанка»; она вечно болтала с нами по-русски. От нее мы научились немногому; она не научила меня читать и писать по-английски, так как сама была полуграмотна.

От ее пребывания с нами я запомнил только одну песенку, начало которой помню и сейчас:

Djordgik podjik, pudnen pay
Kiss the girls, and make them cry.

Дальше этого дело у нас не пошло.

Позднее, мы еще ездили на уроки английского языка к одной обрусевшей датчанке, которая была замужем за англичанином, механиком адмиралтейства.

Она учила нас «по методе Робертсона». Ей я обязан тем, что могу и теперь еще читать английские журналы и книги, не без напряженной помощи, однако, лексикона. Но, разговорный английский язык, со своим условным произношением, которым плохо владела и сама учительница наша, так и остался для меня недосягаемым.

Когда, гораздо позднее, мне удалось побывать в Лондоне, меня любезно выслушивали, но не понимали.

На немецком языке мама, почему-то, не настаивала и нас с детства ему не учили.

Появление в нашем доме «mademoiselle Clotilde Jacoto» имело место в конце лета.

Мы гостили в Кирьяковке у бабушки, где она жила обыкновенно до глубокой осени, когда нарочный привез маме известие, что давно ожидаемая гувернантка прибудет со следующим пароходом из Одессы.

Волнение наше стало неописуемым.

Мама хотела было одна ехать встречать ее, но мы решительно «увязались» за нею и она порешила, взяв нас, совсем переехать в город, чтобы разом наладить наш новый режим.

Накануне приезда «нашей гувернантки» мы уже были в городе и очень хлопотали (т. е. хлопотала мама, а мы неизменно только были в ее хвосте) относительно устройства для нее отдельной комнаты.

Прежняя комната сестры, большая, в три окна, где, когда она была маленькая, спала и Марфа Мартемьяновна, была теперь предназначена исключительно гувернантке. Сестре приготовили другую комнату, рядом, с таким расчетом, чтобы комната гувернантки была между сестры и моею спальнями; с другой стороны моя примыкала к маминой спальне.

Будущую комнату Клотильды Жакото привели в образцовый порядок, повесили белые занавески и устлали ковровыми дорожками. Мама приложила всевозможное старание к тому, чтобы комната выглядела уютно и была снабжена всем необходимым; перевернули вверх дном все кладовые и сараи, пока не разыскали какой-то мамин «девичий туалет», который затянули новым голубым коленкором и покрыли вышивками.

В день, когда ожидаемый нами пароход должен был прийти из Одессы, нам, с сестрой, совсем не сиделось на месте. С каждой минутой нетерпение росло и любопытство разгоралось.

Обычно, пароход приходил между четырьмя и пятью часами вечера, а я уже с двух часов — обедали мы в час — начал бегать к Николаю, чтобы он не прозевал запрячь и подать во время четырехместный фаэтон к крыльцу.

Суетился я также, чтобы снарядили подводу «за вещами гувернантки». Слово «гувернантка» мне чем-то импонировало, и я козырял им весь день и перед Николаем, и перед всеми, кто хотел меня слушать.

Наконец фаэтон подали и мы, с мамой, поехали, чинно и торжественно, встречать гувернантку.

На пристань в Спасске, куда приставали пассажирские пароходы, мы попали весьма заблаговременно.

Мама пожурила меня за суетливость и непоседливость и, чтобы занять время, повела нас, по дорожкам Спасского парка, вплоть до выдающейся стрелки, откуда видна была вся даль широкой реки Буга.

Наконец, вдали, из-за изгиба реки, показался сперва дымок, а скоро обозначился и силуэт, взбивавшего вокруг себя белую пену, большого колесного парохода.

Ухватив маму за руку, я хотел было заставить ее пуститься с нами бегом к пристани, но она умерила мое рвение, объяснив, что мы «десять раз успеем быть на пристани», раньше чем пароход обогнет стрелку и будет у пристани.

Так и случилось.

Наконец, пароход, с надписью большими буквами на верхнем чехле колеса «Таврида», пристал вплотную и стали класть сходни.

На верхней палубе скучилось довольно много пассажиров, большинство которых были мамины знакомые, которые ей оттуда кланялись.

Несколько в стороне, наклонившись и опершись о перила рубки, стояла молодая, довольно высокая и плотно сложенная девушка, в сером дорожном ватерпруфе, с дорожной сумочкой через плечо.

Мама, указывая на нее, сказала: «наверное это она»!

Мы впились в нее глазами, но она была под вуалеткой, в маленькой соломенной шляпе, и лица ее еще нельзя было разглядеть.

Кто-то из пассажиров подошел к ней и указал на нашу группу. Тогда уже не стало сомнения, что это именно «она».

Сойдя с парохода, она прямо к нам и направилась.

Чистая французская речь зазвучала уже, пока она, еще на ходу, поднимала двумя пальцами обеих рук свою вуалетку к полям шляпы.

Что она сказала маме и что последняя ей говорила, я, будучи взволнован, не уловил. Сестра, довольно бойко уже болтавшая по-французски, тоже ей что-то сказала, а та ее тотчас же звонко поцеловала. Я же стоял, как пень и даже не решался глядеть на ее лицо.

Но она, вдруг, взяла меня своими обеими руками за плечи, чуть-чуть потрясла их и, очевидно, зная уже, из переписки с мамой, как меня зовут, неожиданно для меня, промолвила: «alors, c'est cela Nicole! Soyons donc amis»![1] Я захотел доказать, что тоже могу что-нибудь сказать, и сказал: «oui, mademoiselle»![2]

Мама засмеялась, она, тем временем, наклонившись ко мне и

тоже смеясь, поцеловала меня в щеку.

В экипаже уже ехали, как давно знакомые.

«Она» заглядывалась по сторонам с любопытством.

Сидя, с сестрой, на передней скамейке, против нее, я все еще, не решаясь разглядывать ее самое, перебегал глазами в направлении, куда глядела она, и сообразил, что ее интересует знать, какие места и здания попадаются по пути.

Поэтому, не глядя еще на нее, я стал тыкать пальцем в сторону, куда она поворачивала голову, односложно поясняя:

«C'est l'observatoire! c'est la poste! c'est l'eglise! c'est le boulevard!»[3]

Она, вдруг, совсем низко наклонилась ко мне, дотронулась до меня слегка указательным пальцем и, смеясь, сказала:

«Et cela — c'est Nicole, le gentil garcon»![4]

Все рассмеялись, засмеялся и я и сразу поднял на нее глаза.

У нее было милое, хорошее лицо, хотя ничего особенно красивого в нем не было. Просто приятно было глядеть на нее, так она вся была оживлена, проста и симпатична.

Дружба установилась.

В доме у нас ей все понравилось. Только, когда ей показали ее комнату, она, заглянув и в наши, запротестовала. Она нашла, что ее комната «immense»[5] и предложила, чтобы сестра Ольга спала с нею, а чтобы из комнаты сестры сделать «классную», о которой совсем не подумали. При этом она объявила, что у себя дома она спала «dans une toute petite chambre»[6] и даже ночью приходилось держать окно не плотно закрытым.

Мама что-то упомянула относительно ее багажа, полагая, что с ним ей, может быть, будет тесно. На это она звонко рассмеялась и объявила, что ее багаж весьма не сложен.

Действительно, когда въехала во двор громоздкая подвода, с нее сняли и внесли в дом умеренных размеров «вализу», — в сущности корзину, обшитую черной клеенкой, и небольшой мешок-сак.

Все устроилось, как наметила mademoiselle Clotilde.

На другой же день принялись сообща за устройство «классной». Повесили несколько географических карт, приобрели письменные принадлежности, тетрадки; несколько учебных книг, которые она привезла с собою и какие были у нас, разложили на полках этажерки.

Mademoiselle Clotilde очень быстро освоилась и вызнала вся и всех в доме.

Я очень хлопотал с этим и даже залучил ее на черный двор, желая показать конюшню. Здесь я отрекомендовал ей и Николая и Мишку отдельно. По моему настоятельному приглашение она

храбро вошла к Мишке в стойло и погладила его шею.

Он не смутился незнакомки и, по своему обыкновению, с любопытством проводил ее глазами.

Милая mademoiselle Clotilde все как-то просто и жизнерадостно приветствовала, изумлялась размерам дома, дворов и сада, говоря, что это не городской дом, а целая усадьба: «une domaine».

Даже бабушка нашла ее симпатичной, особенно после того, как на ее вопрос, бывала ли она в Париже, та чуть не с ужасом ей отвечала: «oh, non, madame, jamais»! [7]

Вполне осмотревшись, mademoiselle Clotilde однажды радостно объявила маме: «J'etais bien inquiete sur ce qui m'attendait si loin de ma patrie! Ah, madame, que je suis heureuse de si bien tomber!»[8] а мама ей отвечала: «ainsi, que moi de meme»![9]

Глава тринадцатая

Занятая наши с mademoiselle Clotilde начались для нас почти незаметно, но стали скоро систематичны и довольно продолжительны, особенно у сестры.

Я пользовался большею свободой и каждые полчаса выбегал то во двор, то в сад, то в конюшню и mademoiselle Clotilde не только не препятствовала этому, но, когда становился рассеян, сама мне говорила: «Vous voila trop distrait, Nicolas, surtout n'allons pas pleurnicher, partez vite, rafraichissez. Vous et revenez bientot!»[10]

И эти эскапады казались мне вполне заслуженным счастьем.

С mademoiselle Clotilde кроме французского языка, т. е. чтения, диктовки и грамматики, мы учили еще древнюю историю по «Lame Fleuri» и географию и я долгое время карту России знал только по-французски.

Так как сначала она не знала ни слова по-русски, это много способствовало нашим успехам и мы очень скоро стали свободно болтать по-французски, тем более непринужденно, что и мама с нами иначе не разговаривала в присутствии mademoiselle Clotilde.

И впоследствии, когда последняя уже недурно усвоила русский язык, она говорила на нем только с прислугой.

Когда я пытался учить ее русским словам, она всегда говорила: «laissons cela. Je ne suis pas ici pour etudier le russe, mais pour vous enseigner le francais».[11]

В самые первые годы жизни, судя по рассказам домашних, я был довольно слабым, чуть ли не болезненным ребенком.

По крайней мере говорили, что меня и «сажали в горячий песок», и возили на бойню, где делали ванны из какой-то «требухи». Эту слабость упорно приписывали тому, что «беглая Ганка» меня не докормила и что некоторое время меня пришлось держать на рожке, а после поить ослиным молоком.

Ослицы, которая меня выкормила, когда я уже себя помнил, у нас не было; по миновании надобности ее отправили обратно в «Богдановку», откуда она была взята.

Там был большой табун лошадей, была и ослиная пара. Впоследствии я, таки, увидел ее и поскорбел о ее печальной участи.

В первые годы моего детства меня ужасно «кутали», т. е. слишком тепло одевали, вечно боясь «простудить». Зимы в Николаеве не бывали ни суровы, ни продолжительны. Но я хорошо помню себя в меховой в талии шубке, отороченной по вороту, по груди и по рукавам серым барашковым мхом, и в

малиновой, бархатной, отороченной серым же барашком, теплой шапке, с несносными наушниками, подвязанными под подбородком.

И с этой стороны незаменимая «Клотильда», которая очень скоро стала не только верным другом мамы, но и влиятельным авторитетом в дом, пришла мне на выручку.

Оголить мои икры, как она бы хотела, ей так и не удалось, но все же она значительно успела облегчить мою «тяжелую амуницию».

Раньше, в мой шубе и наушниках, я соглашался еще ездить, особенно в санях, когда выпадал снег и стоял мороз, но ходить по зимам совершенно отучился и капризничал, когда в таком виде меня хотели вести гулять.

Теперь же, в драповом пальто или шевьетовой накидке стал довольно охотно ходить пешком и не скоро уставал. Выбегать же во двор уже не смущался, — «в чем был».

Раньше, самое большое, нас довозили в экипаже до бульвара, где на площадке перед ротондой играла два раза в неделю военная музыка, после четырех часов дня.

Марфа Мартемьяновна усаживала нас чинно на скамейке и этим исчерпывались наши развлечения на лоне природы, Правда, на воздухе мы все-таки бывали, так как кататься в экипаже нас возили часто, и бабушкин сад был в полном нашем распоряжении.

Но только с появлением Клотильды Жакото стали открываться для нас некоторые прелести общения с несколько однотонной, но все же южной природой Николаева и его окрестностей.

Урочище «Спасск», на берегу широкого Буга, в глубокой низкой «балке», с его парком и «летним дворцом», возвышавшимся у спуска в парк, было раньше конечным пунктом наших прогулок в экипаже. Теперь именно это затейливое, в восточном стиле, двухэтажное здание, приспособленное под летнее «благородное собрание», стало пунктом отправления нашего в дальнейшие экскурсии.

За «Спасском» тянулось хорошо содержимое шоссе, пересекавшее, во всю их длину, ближние и дальние «Лески», в конце которых опять был какой-то восточного типа «дворец», заколоченный и необитаемый.

По рассказам, оба эти «дворца» и сам «Спасск», парк, с его двумя изумительными источниками питьевой воды, были реставрированным наследием еще турецкого здесь владычества.

По вечерам летом по этому шоссе проезжало много экипажей с катающимися; в зимние же месяцы «Лески» были малолюдны,

так как были довольно отдалены от города.

В хорошие дни и весной, и зимой, и осенью, а летом каждый день, пока оставались в городе, мы стали ездить с mademoiselle Clotilde «за Спасск» в «Лески».

Останавливались, где вздумается.

Ранней весной искали подснежники и лесные фиалки, осенью грибы. Летом спускались к реке за ракушками и разноцветными, точно полированными речным прибоем, «кругляшками».

Зимою, пока между деревьями лежал белый снег, бросали друг в друга и в mademoiselle Clotilde снежными комьями.

Она была неутомимый ходок и приохотила и нас к продолжительным прогулкам пешком.

Мало помалу, я окреп и поздоровел, благодаря тому, что много двигался на воздухе.

Mademoiselle Clotilde находила, что климат южной России очень напоминает ей родину. Она бывала в восторге, когда бабушкин сад становился то молочным и благоухающим от цветения акации, то бледно-лиловатым, когда зацветала сирень, то розовато-палевым, когда цвели плодовые деревья.

В «Лесках» сплошные плантации акаций перемежались лишь кое-где с группами конских каштанов, тутовыми деревьями и стройными тополями, вперемежку с ивами, тянувшимися по речной низине.

Ранней весной, при сплошном цветении акаций, «Лески», положительно, выглядели волшебно: точно осыпанные благоуханным, нетающим снегом. К осени загорелые тона листвы красиво играли на солнце красновато-желтым отливом.

Всего хуже «Лески» выглядели летом, когда наиболее посещались. В разгар лета, от недостатка влаги, пыльная листва акаций увядала и вся посадка вдоль шоссе тянулась унылыми, монотонными полосами.

После редких, но сильных, с грозами, проливных дождей лески вновь оживали, прихорашивались, между деревьями зеленела трава и появлялись полевые цветы; красный мак по преимуществу. И так до новой засухи.

Mademoiselle Clotilde, очень внимательная ко всем таким видоизменениям в природе, научила и нас замечать их.

Нечего и говорить, что, благодаря своей жизнерадостности, природной доброте и прекрасному ровному характеру, «наша гувернантка» очень скоро перестала быть в моих глазах «гувернанткой», с которой, в каком-либо отношении, надо держать себя на стороже, а сделалась, после мамы и дяди Всеволода, самым дорогим для меня существом. Боязнь огорчить ее, лучше всяких внушений и кар, стали удерживать меня от

капризов, лени и многих шалостей, приходивших порою в голову.

Особенно «заобожал» я милую mademoiselle Clotilde, когда она дважды, как-то незаметно, но властно, пришла мне на выручку в очень важных для меня обстоятельствах.

Сестра брала уже уроки музыки и играла недурно.

В зале стояло большое фортепьяно и, когда она садилась за него со своим «горбатеньким», почти карликового роста, учителем музыки, Бельвейсом, их из-за инструмента едва было видно.

Бельвейс, по происхождению чех, очень славился в городе, как пианист и преподаватель, и был нарасхват.

Мама непременно хотела и меня учить «музыке», т. е. играть на рояле.

Чтобы «подготовить к Бельвейсу», она затеяла сама заняться со мною предварительно и стала, чуть ли не каждый день, на целый час, засаживать меня за инструмент, рядом с собою.

Я с упорством не обнаруживал ни малейших музыкальных способностей. Что именно изображается «на первой приписной линейке» и на последующих, осталось для меня навсегда неразгаданной загадкой. Напрасно мама билась со мною, чтобы разучить нечто «для бабушки в четыре руки». Я, не впопад, только тыкал пальцами в средние клавиши, издавая фальшивые звуки, пока мама, отсчитывая моменты моего «вступления», бойко и отчетливо наигрывала что-то на остальных клавишах.

Очень быстро «музыка» мне положительно опротивела; я испытывал настоящие муки от одного приближения к фортепьяно и стал убегать и прятаться, когда приближалось время урока.

Мама считала это, однако, упрямством и пыталась настоять на своем.

Меня аукали, разыскивали, в конце концов находили.

Когда наша здоровенная «комнатная Акулина», по приказу мамы, извлекала меня из моей похоронки и влекла к дому, к ненавистному «инструменту», я не только изо всех сил упирался и барахтался, но и цеплялся в саду за каждое встречное дерево, а в доме — за первую попавшуюся мебель, или косяк двери, чтобы только отсрочить скучное тыканье пальцами по клавишам.

Тут-то и пришла мне, наконец, на выручку неоценимая «Клотильда».

Ей удалось убедить маму оставить меня с «музыкой» в покое, в виду совершенно явного отсутствия у меня самомалейшей к ней склонности.

В день, когда это решилось, я чувствовал себя настоящим именинником.

Была еще одна вещь, которую я не выносил с тех пор, как

себя помнил, это когда звали цырюльника и он коротко «под гребенку» стриг мне волосы.

Во-первых, я после этой процедуры надолго сознавал себя «страшным уродом», а, во вторых, почтенный армянский Иван Федорович, который умел не только стричь и брить, но и пьявки ставить и кровь пускать (все это и было изображено у него на вывеске, на Купеческой улице), когда кончал стрижку, немилосердно скреб жесткой щеткой не только мою оголенную голову, но и шею, и за ушами и даже заезжал ею в обе щеки; а в течение самой стрижки, то и дело наклонял своей рукой мою голову вниз настолько, что подбородком я должен был упираться в собственную грудь.

Обычно всему этому предшествовали и слезы, и гоньба Акулины за мною по всему дому.

И тут мне на выручку пришла все та же добрая фея наша, Клотильда Жакото.

Она убедила маму не стричь меня больше «под гребенку» (ne pas le raser)[12], как настаивала бабушка, а «laisser pousser ses beaux cheveux»[13], причем обещала, что она сама будет их подрезывать, смотря по надобности; и сдержала свое обещание, оставаясь довольно долго пестуньей моих густых волос.

Ликованию моему не было предела. Я всегда и впоследствии терпел стрижку лишь как необходимое зло и был очень чуток в вопросов о состоянии моих волос, считая их лучшим своим украшением.

Уже студентом, посылая «из столицы» очень «волосатую» (по моде тех годов) свою фотографию, интересовавшей меня особе в Николаев, я начертал на ней двустишие:

«Не блистая иными красами,
Как Самсон, я силен волосами.»

Глава четырнадцатая

Гимназии, ни мужской, ни женской, в то время в Николаеве не было и приискание подходящих педагогов было затруднительно.

Уроки арифметики нам приходил давать, два раза в неделю, незлобивый Максим Васильевич (фамилия улетучилась). Это был уже пожилой, небольшой лысый человечек, в сюртуке морского покроя, с кортиком на боку и с белыми, а не золотыми, погонами на плечах. Жил он где-то очень далеко и приходил всегда пешком.

Садясь за урок, он, прежде всего, доставал из заднего кармана своего сюртука цветной, огромных размеров, носовой платок, которым тщательно вытирал сперва свою запотевшую лысину, а потом н шею. Сестра Ольга прозвала его «нашей Туруруколой». Он сыпал однотонно свои объяснения. и «примеры», не заботясь о том, поняли ли его, или нет.

Меня всегда клонило ко сну во время его уроков, и математика навсегда осталась для меня некоторым камнем преткновения.

Приходил, также два раза в неделю, к нам учитель чистописания и рисования, худой, высокий, с очень светлыми, белесоватыми волосами, по фамилии Чирва. Он служил чертежником в канцелярии морского штаба и также носил форму, похожую на морскую.

Чистописание, а в особенности рисование, шло у меня не важно; сестра же кое-что подрисовывала.

Это не мешало мне, однако, по ее примеру, подносить бабушке, в ее именины, и свой рисунок: волнистый пейзаж, с деревьями и фантастическим замком вдали.

Нужно ли пояснять, что это было гораздо более произведением самого учителя Чирвы, нежели моим. Я кое где лишь «заштриховывал» по его указке, оставленные им, белые пятна. Но подпись и дата поднесения внизу рисунка выводилась мною собственноручно.

Это был маленький плагиат, по инициативе самого Чирвы, тщательно скрываемый, не говоря уже о бабушке, даже от мамы.

Уроки Закона Божия мы стали брать довольно рано для моего возраста, так как приходилось сообразоваться с возрастом сестры, а не моим.

Для этих уроков мама пригласила отца Николая (и фамилию помню: Лисневского), только что назначенного настоятелем «греческой церкви», переведенного в Николаев откуда-то с севера.

Почему церковь называлась «греческой» — не знаю; там служили, как и в других церквах, на славянском языке, и пели все понятное.

Приглашению в дом отца Николая, в качестве законоучителя, предшествовала молва о нем, как о выдающемся, по своим достоинствам, священнослужителе. Греческая церковь вдруг стала модной, благодаря его проповедям и «боголепному» служению.

Когда он выходил с дарами, благодаря его проникновенному голосу, плавным движениям и скорбно наклоненной в одну сторону голове, казалось, что это сам Христос идет на земные страдания. Дамы на перебой спешили избрать его своим духовником.

Когда скончался отец Дий, мама, а с нею и мы, стали исповедываться и причащаться у отца Николая.

Его появление в Николаеве, и именно священником греческой церкви, стало тем боле знаменательным явлением для всего города, что его предшественник, отец Александр, (Гайдебуров) нажил себе здесь очень плачевную известность, был отставлен (едва ли не расстрижен), и доживал свой век где-то в соседней деревушке.

Говорили, что он часто служил, будучи нетрезвым. На исповедях дамы и девицы нередко выскакивали из под его епитрахили, расстроенные и негодующие.

Приводили случаи, когда он, почему либо недовольный своей исповедницей, лишал ее на другой день причастия, объявляя во всеуслышание, что «сия дщерь не достойна приобщения святых тайн Христовых».

Бывали слезы, истерики, чуть ли не обмороки. Отцы, мужья, братья являлись к нему с объяснениями, грозили жалобами, обещали расправиться с ним своими средствами.

Скандалы выходили грандиозные.

Но и это было еще не все.

Одно время по городу пошли упорные слухи о том, что в домах, преимущественно богатых купцов и зажиточных слобожан, стали происходить какие-то таинственные явления. Слышны были по ночам непонятные стуки, иногда, точно из подземелья, доносился «дьявольский» хохот, или продолжительные стоны, и т. п.

Порушили, что это проделки «нечистого», искушающего нетвердых в вере. Многие женщины стали кликушествовать и хворать.

Наряду с этим, через причетника и сторожа греческой церкви, пошел упорный слух, что никто, как отец Александр, мастер

отчитывать кликуш и запойных пьяниц и служить очистительные молитвы, для изгнания из домов нечистой силы.

Народ валом стал валить к нему.

Купцы и слобожане стали приглашать его в свои дома «молебствовать» и «отжинать нечистого», как убежденно докладывала маме Марина.

Сама Марина водила к нему своего Николая «отчитывать от водки» и отец Александр «наложил на него заклятие», чтобы отвратить от пьянства.

Как выяснилось при расследовании (для этого из Херсонской Духовной Консистории было командировано какое-то важное духовное лицо), этими «отчитываниями» и «изгнаниями нечистого», отец Александр, при содействии своего причетника, выбирал от темного народа не малые денежные суммы.

Популярность отца Николая тем ярче воссияла, чем мрачнее была эпопея его предшественника.

В Страстные дни и Пасху я не пропускал ни одной его службы, так они были проникновенно-задушевны и вместе торжественно-живописны.

Я стаивал обыкновенно у него в алтаре и любовался, как он, усердствуя, воздевал высоко свои руки к небу, из под налезавшей на его шею жесткой ризы, как набожно устремлял свои взоры в высь, запрокидывая назад свою волнистую шевелюру.

Он считался священником «образованным» и мама любила присутствовать на его уроках.

В эту же зиму мама надумала пригласить учителя танцев, главным образом для сестры, но, попутно, и я должен был усваивать все «позиции» и даже пытаться танцовать «качучу».

Наш танцмейстер, по фамилии Дибольт, немолодой, длинный, худой господин, приходил на урок танцев со скрипкой, которую держал в суконном чехле и носил под мышкой. Раздевал сперва методически свою скрипку, потом уже раздавался сам, приглаживал свои жиденькие, с сединой, височки и входил в зало в полном параде, со скрипкою в одной руке, со смычком в другой.

Он являлся на уроки всегда во фраке, с очень короткими позади фалдами, которые не повисали, а как-то смешно топорщились и поднимались почти торчком, когда он приседал, показывая сестре, как надо делать «глубокий реверанс», или показывал мне, как, «шаркнув ножкой», должно отвесить «глубокий поклон» старшим.

Объяснялся он на ломанном русском языке и называл себя «славянином». Играл он на своей скрипке, подтанцовывал с нами и подпевал свои команды одновременно. «Глиссэ вперед, глиссэ назад, право, лево» и «раз и два и три, четыре» — все это

сопровождалось тончайшим пиликанием на двух струнах скрипки.

Из модных танцев учил он нас головокружительному «в два па», вальсу, который только один и дался мне вполне, а еще польке и польке-мазурке.

Сестра очень быстро усваивала указания нашего танцмейстера, я же не отличался грацией и был мешковат в движениях.

Мама, присутствовавшая на этих уроках, не раз говаривала: «ах, ты, мой медвежонок, опять не в такт пошел»! А взрослые кузины, которые также нередко забегали «на танцы» и сами принимали в них участие, всегда делали поправку: «зато он будет умный»!

Каким психологическим процессом они доходили до сочетания наличия «ума» с отсутствием музыкального слуха и чутья ритма, осталось их тайной.

Я же, отчасти, страдал от сознания своих несовершенств по части грации.

Я был очень самолюбив. Мне ужасно хотелось быть на высоте предъявляемых ко мне требований.

Особенно заботило меня то, что Тося (Платон Кузнецов), мой однолеток, очень хорошо уже танцевал.

Как-то, ко дню именин бабушки, Аполлон Дмитриевич, со своей семьей, всего на один только этот день, приехал из Херсона «поздравить маменьку».

Вечером, когда были гости, дети дали целое представление. Маня, выглядевшая почти взрослой и совсем красавицей, сыграла какую-то замысловатую пьесу на рояле и всё очень ее хвалили и любовались ею.

Женя и Тося в «испанских костюмах» очень ловко станцевали ту самую «качучу», которая мне так туго давалась.

Даже четырехлетний малыш Саша, которого только за год перед тем старшая сестра Грации Петровны, Гилария Петровна, доставила из Петербурга и сама переселилась в Херсоне, участвовал в представлении.

Одетый в малороссийскую белую «свитку» и высокую мерлушковую шапку, с усиками, подмазанными жженой пробкой, он меланхолически-заученно проскандировал под музыку малороссийскую песенку «идет казак с за-Дунаю».

Все нашли, что «сюрприз» удался на славу.

Только, когда на другой день они уже уехали, бабушка и другие домашние, точно сговорившись, толковали про Аполлона Дмитриевича: «это наверное та (т. е. Грация Петровна) навязала ему привезти всю странствующую труппу. Нашли чем удивить».

Я заметил, что не только бабушка, но и мама, и даже незлобивая Надежда Павловна, все, понемножку, как-то нетерпимо относились ко всему, что исходило от Грации Петровны и от покорного ей во всем мужа.

В глубине души я не разделял этих чувств, не понимал их и не находил ничего, что оправдывало бы их по отношению к Грации Петровне.

Не говоря уже о том, что она была матерью пленившей меня Мани, и сама она шуршанием своих шелковых платьев и какою-то особенною, «не простою», манерою держать себя, всегда возбуждала во мне пытливое чувство не то удивления, не то любопытства.

В ее присутствии я чувствовал себя как-то взрослее, хотя, с тем вместе, она больше, чем кто-либо, приводила меня в смущение и даже некоторое оторопелое замешательство, когда обращалась непосредственно ко мне и глядела на меня, так же как на всех, своими, затененными красиво, глазами и приветливыми на щеках «ямочками».

Mademoiselle Clotilde, не сказавшая с нею и двух слов, так как Грация Петровна, знавшая хорошо немецкий язык, не говорила по-французски, на вопрос мамы: как она ей понравилась, довольно загадочно (т. е. загадочно для меня) ее аттестовала: «pour son age eile est bien coquette, et cela ne deplait pas aux homines»[14].

Сама Клотильда Жакото, как раз, была чужда всякого кокетства. Она одевалась всегда очень просто, не употребляла ни пудры, ни духов.

Когда мама ей раз подарила флакон парижских духов, она, не раскупоривая, держала его как украшение на своем туалете. Чистюга же она была большая и утром и вечером долго плескалась в воде.

Мама, смеясь, как-то сказала ей: «pour une francaise, Vous etes unique»![15] а она ей отвечала: «je ne viens pas de Paris, et je ne le regrette pas»![16]

Скоро все в доме узнали, что все жалование, которое mademoiselle Clotilde получала от мамы, а позднее и все деньги, который она зарабатывала уроками, она целиком отсылала своей нуждающейся семье во Францию.

И все проникались к ней все большим и большим уважением.

Когда она получала письма из дома, то бывала особенно в духе и, нежнее обыкновенного, ласкала сестру и меня.

В таких случаях она нередко говорила маме: «ah, si lee miens voyaient сотте je suis bien ici, ils seraient bien heureux».[17]

А мама ее подробно расспрашивала о матери, сестре и двух

братьях, которые еще учились «au college»[18], и, потом, неизменно диалог заканчивался словами мамы: «Votre mere est deja bien heureuse davoir une fille comme Vous!»[19]

Глава пятнадцатая

В Кирьяковку, где нам, с мамой и mademoiselle Clotilde, отводилось верхнее помещение в доме, с его большим балконом, у которого «дедушкины тополя» переросли уже наши окна, мы наезжали только недель на шесть, в самый разгар летней жары, и каждый день ходили с мамой и Надеждой Павловной на реку купаться.

Буг в этом месте очень широк; противуположный берег виднелся отчетливо только своими контурами, но крестьянские избы, люди, лошади и коровы казались издали маленькими, точно игрушечными.

Для раздевания у самой воды была небольшая «купальня» т. е. деревянная будка, крытая соломой, от которой небольшой мостик вел и спускался лесенкой в реку.

Я купался обыкновенно с мамой, которая отлично плавала и меня научила, а сестра с Надеждой Павловной «барахтались» у самой лесенки, так как обе плавать не умели.

Mademoiselle Clotilde ходила купаться ранним утром одна, пока мы еще спали, так как не находила удовольствия купаться в жару.

Оставались мы в деревне, сравнительно, недолго потому, что там учение наше совершенно прерывалось, а мама находила, что учится нам пора.

Кроме того, там мы жили «над самой головой бабушки»; она жила в первом этаже, очень чутко спала, отдыхала и днем и мы были значительно стеснены вечной заботой и напоминаниями — «не очень шуметь».

Вообще в Кирьяковке, в качестве помещицы, бабушка была неузнаваема.

Насколько в городе она жила «старой барыней», ни во что решительно не вмешивалась, ничем даже не распоряжалась, настолько здесь входила решительно во все и проявляла упрямое своевластие.

Без ее разрешения нельзя было запрячь лошадь, отъехать куда-нибудь за версту от дома. Сама она в безрессорном экипаже (по совету доктора) выезжала каждый день «в степь», смотреть сенокос, или в «хлеба», проверять урожай.

Через сад, в особую калитку, ключ от которой был всегда при ней, она нередко одна, словно тайком, проходила «на ток», когда там происходила молотьба первобытным способом, при помощи тяжелых каменных зубчатых катков, влекомых волами, по настланным большим кругом колосьям. Выбитое зерно

отделялось затем от «половы» (рассеченной соломы) простым подветренным провеянием лопатами.

Надо было видеть, как бабушка иногда в самое несуразное время пробиралась туда, чтобы внезапным появлением убедиться, исправно ли отбывается поденщина.

В городе не слышно было ее голоса; все передавалось через Надежду Павловну.

Здесь же, у себя в имении, вечно был слышен ее голос, нередко повышаемый до крика.

Каждый вечер, раньше чем отойти ко сну, она принимала обстоятельный доклад своего управляющего Юрия Филипповича Георгиу. Это был обрусевший грек, лет сорока, энергичный, загоревший до черноты, благодаря вечному пребыванию на припеке, во время полевых работ.

Он не смел садиться в ее присутствии, хотя по торжественным праздникам приглашался к столу, также как и священник ближайшей сельской церкви.

Юрий Филиппович был холост и жил «при конторе», на втором дворе.

Я с ним был в дружбе и заглядывал иногда к нему, так как по стенам у него были развешены пистолет, ружья, кинжал, нагайки и длинный арапник для собак.

Когда он отправлялся на своих бегунках без кучера «в степь,» или «на кошары», я иногда усаживался впереди его и он давал мне править лошадью, которая была «добрая», т. е. хорошо бежала, но была смирная.

Я настойчиво «выпрашивался» у мамы в эти поездки и она, скрепя сердце, иногда меня отпускала.

Раз мы поехали с Юрием Филипповичем «на кошары».

Кошары — это большие, казарменного вида, сараи, — зимний приют для выпасаемых в дальней степи овец. Тут же и казарма для «чабанов», взрослых и подростков (пастухи и подпаски). Когда нет травы, овец держат в кошарах, кормят сном и соломой.

Целая стая злых «чабанских» собак (овчарок) сторожат этот овечий табор и их дружный лай, когда подъезжаешь, слышишь чуть ли не за версту.

Когда мы подъехали к кошарам, кто-то из взрослых чабанов, после доклада о состоянии овчарни, пожаловался Юрию Филипповичу на то, что между ними «завелся вор». У него украли праздничный «наборный пояс».

Пошло расследование. Кто-то высказал подозрение на одного подпаска.

Юрий Филиппович принялся немедленно за розыск. Он начал строго допрашивать заподозренного. Тот весь трясся, плакал, но

отрицал свою вину.

Пошли куда-то с обыском. Повели за собою и обвиняемого.

Я чувствовал, как внутри меня уже начинало что-то дрожать, но я еще крепился и только молил Бога, чтобы у мальчугана ничего не нашли и чтобы он оказался невиновным.

Но, вот, всей гурьбой, с Юрием Филипповичем во главе, вернулись во двор с обыска.

Предательский ременный пояс, с закрепленными на нем медными бляшками, был в его руках.

Участь несчастного, которого теперь двое вели за руки была решена.

Все как-то разом ринулись на него, распластали тут же на земле, спустили ему штанишки, задрали рубашку ему на голову и я увидел, как Юрий Филиппович, взмахнув поясом, нанес несчастному удар по ягодицам… Он замахнулся для второго…. Но тут я не выдержал. Дыханье, которое у меня при первом ударе остановилось в груди, вдруг с силой вырвалось, я благим матом вскрикнул и неудержимо зарыдал.

Все кинулись ко мне, оставив наказуемого.

Долго возились со мной, приносили воду, я все рыдал и меня всего трясло.

Юрий Филиппович, видимо, не рад был, что затеял свою экзекуцию в моем присутствии.

Чтобы меня окончательно успокоить, он объявил поднявшемуся, тем временем, подпаску, что на этот раз с него довольно и он его прощает.

Тот стоял потупившись и, молча, задергивал и завязывал трясущимися руками тесемку своих широких штанишек.

Мы уехали тотчас же.

Юрий Филиппович, позади меня, что-то наговаривал, как бы передо мною оправдываясь. Он объяснял, что воровать нельзя, что за это всегда наказывают, что если не наказывать, то что ж будет и т. д.

Слова его как-то до меня не доходили; я только неприятно ощущал, чего не бывало раньше, близость его присутствия позади меня.

Дома мама не могла не заметить моего глубокого расстройства.

Я долго колебался, открыть ли ей причину, опасаясь «не достанется ли» от бабушки самому Юрию Филипповичу, если я расскажу все, чему был только что свидетелем. Но, в конце концов, маме, рыдая, все рассказал.

На это она объявила мне, что с Юрием Филипповичем она больше отпускать меня никуда не будет.

Я стал просить ее не говорить бабушке, чтобы ему самому не быть перед нею в ответе. На это мама усмехнулась и, помню, сказала: «ах, ты простец мой, да она бы его только похвалила».

Меня эти слова поразили и, мысленно, я тотчас же приобщил бабушку к темной от загара руке Юрия Филипповича, с «наборным» в ней поясом, занесенным над оголенным белым задом трясущегося подпаска.

Я только впоследствии стал соображать, почему мама вообще не любила, чтобы мы долго засиживались у бабушки в Кирьяковке.

Насколько в городе мама властвовала в доме и все, в конце концов, делалось, как она считала нужным, настолько в Кирьяковке она чувствовала себя гостьей, не имеющей влияния на ход событий.

Часто мы проходили широкой улицей крестьянского поселка, который был несколько удален от господского двора, и спускались ниже к извилистому, часто пересыхавшему ручью, впадающему в широкий Буг.

Маму, по пути, останавливали нередко бабы, выходившие ей на встречу из своих хат и о чем-то просили ее; иногда хныкали.

Мама всегда расстраивалась после таких встреч, потом ходила к бабушке и что-то ей долго наговаривала; но я не замечал, чтобы она уходила от нее всегда удовлетворенною.

Дядя Всеволод редко наезжал в Кирьяковку, так как служба этому мешала. Приезжал он не надолго, и без Нелли, которая могла бы беспокоить бабушку.

Ему отводили комнату рядом с моей спальней.

И вот, тогда-то я часто слышал, как, раньше чем разойтись спать, дядя Всеволод и мама о чем-то долго разговаривали в диванной.

Все больше о бабушке и о деревенских делах и порядках. Шла их речь и о том, что, ведь, скоро, все равно, все переменится, и что бабушка напрасно упрямится и не поступит так, как уже поступил граф Лорер в своей Варваровке.

При этом они очень жалели бабушку, говоря, что она даже стала часто хворать с тех пор, как пошли слухи об «отмене крепостных» и, в первую голову, о «вольной» для дворовых людей.

Только впоследствии я понял, о чем, пока я засыпал, была их задушевная, тогдашняя беседа, когда узнал, что варваровские крестьяне стали «вольными» за несколько лет до общего освобождения крестьян.

Не потому ли тогда так сладко было мне засыпать под тихий говор любимых мною существ.

Глава шестнадцатая

С наездами дяди Всеволода в Кирьяковку, нам всегда выпадало большое развлечение — поездка в Крюковку, в гости к «старой тете Лизе».

Крюковка отстояла от Кирьяковки верстах в восьми, а то и больше; никто не мерил. Это было тоже именье бабушки, доставшееся ей от первого мужа, Кузнецова, у которого оно было благоприобретенным.

Бабушка его совсем забросила, никогда туда не заглядывала и всецело предоставила его в распоряжение своей, падчерицы, нашей «тети Лизы».

Та и жила в Крюковке, с ранней весны, все лето. Она была отличная хозяйка и пристрастилась к простой деревенской жизни, которую вела там, отпуская дочерей, когда им вздумается, в город, под «присмотр» нашей мамы.

Дядя Всеволод помнил своего отца, помнил и Крюковку еще во времена ее, сравнительного, процветания, и всегда рад был побывать там.

Со своей единокровной сестрой, «тетей Лизой», которая была лет на пятнадцать старее его, он всегда был в дружеских отношениях.

Для этих поездок нам подавался, обыкновенно, четырехместный, вместительный «дедушкин фаэтон», запряженный четвериком.

На передние и задние места усаживались мама, дядя Всеволод, mademoiselle Clotilde и сестра Ольга, а я заранее, еще в сарае, забирался на козлы, рядом с Игнатом, кучером.

Мама мне это разрешала, так как Игнат считался не только надежным кучером, но и искусным наездником, умевшим объезжать молодых «неуков», приводимых в Кирьяковку из Богдановского табуна.

С Марко, который оставался, со своею серой парой, всегда в городе, на случай наездов Надежды Павловны за покупками, я бы, конечно, ни за что не сел рядом, но старика Игната я любил и жил с ним в дружбе.

Я часто бывал у него в конюшне и знал наизусть имена всех лошадей. Кроме пары рослых рыжих кобыл, который только для бабушки запрягались, на конюшне был еще с десяток «экономических» лошадей. Рабочих лошадей, строго говоря, не было, так как полевые работы производились волами, а не лошадьми.

Четверик, на котором мы, обыкновенно, ездили в Крюковку и

в город, был собран из «экономических» лошадей и был недурно, благодаря искусству Игната, съезжен.

Темно-бурые пристяжные, с бубенцами на шее ловко заворачивали головы в противуположные стороны и шли галопом, пока дышловая пара караковых рысила. Игнат отлично правил своими шестью возжами: то подернет одну, то шевельнет другою, не дотрагиваясь до «кнутика», который, неизвестно зачем, неизменно висел на его правой руке.

И пыль поднималась за нами столбом.

Кнутиком он любил только хлестнуть, проездом по деревне, собак, если которая-нибудь слишком стремительно кидалась под лошадей.

Дорога все время шла гладкая, ровная, среди желтеющих нив, убегающих куда-то в бесконечную даль.

Встречные крестьянские подводы, запряженные большею частью волами, круто сворачивали в сторону, завидев «панский» четверик; подводчики, соскочив с подвод, торопливо снимали шапки.

Игнат, озираясь по сторонам и поводя головой во все четыре стороны, не раз пояснял мне: «так, что никому не обязаны, все по собственной, стало быть, едем, до самой Крюковки»!

Раньше чем въехать во двор Крюковской «экономии», приходилось проехать деревенской улицей, вдоль которой с обеих сторон были раскиданы, довольно беспорядочно, крестьянские дома — мазанки.

Их было меньше, чем в Кирьяковском поселке, и выглядели они не так аккуратно. Там он были чисто побелены снаружи и по низу обмазаны желтой глиной, а здесь и пооблупились, и пошли пятнами.

Когда я обращал на это внимание Игната, всю дорогу болтая с ним, он проникновенно замечал: «известно, тут мужик без господского глаза».

Реки в Крюковке не было.

Был только широкий «став», который надо было объехать вдоль всего его края и попасть на мосток, перекинутый через «болотце», в котором рос камыш; а дальше шло только топкое место.

Вымазавшиеся в грязи, по самые уши, свиньи, со своими поросятами хрюкали тут на разные голоса.

Когда же под вечер мы возвращались обратно и опять объезжали «став», к нему на водопой медленно плелся рогатый скот, быки и коровы, а под мостом в камышах квакали лягушки.

С этого места надо было только довольно круто подняться мимо двух крылатых мельниц, стоявших на бугре, и тогда уже, на

совершенно ровном и гладком месте, видны были и ворота и сероватые стены Крюковского двора.

В раскрытые настежь ворота виднелся уже фасад одноэтажного, растянувшегося в длину, белого дома, с посеревшею соломенною крышею, на коньке которой, рядом с дымовой трубой, высилось большое гнездо аиста.

По двум сторонам двора тянулись постройки, вперемежку: чуланы, сараи и навесы, с решетчатыми загородками. На самой середине двора возвышалась большая деревянная голубятня, с целым голубиным стадом на ее крыше и балкончике.

Ближе к дому, на двух высоких столбах, была прилажена на веревках длинная доска-качели.

Едва только въедешь в ворота, сразу видишь, как тут много всякой живности и как свободно она разгуливает по двору, почти сплошь заросшему травой.

Тут и петух с курами, и индюк с индюшками, и гуси, и утки, и павлин и пава, и все с потомством. Между ними кое-где снуют и похрюкивают и крошечные розовые поросята, неподалеку от раскинувшейся на траве, в тени, непомерно раскормленной, свиньи.

— Ah, voila la vraie campagne![20] — воскликнула mademoiselle Clotilde, когда в первый раз въехала с нами на Крюковский двор.

«Тетю Лизу», с высоко засученными выше локтей рукавами, мы заставали всегда в хлопотах по хозяйству.

То она тут же, во дворе, варила варенье на расставленных перед домом жаровнях, которые пышели жаром, то в погребе солила огурцы, то под большим навесом что-то колдовала над большими бутылями с наливками, то вся красная выходила из коптильни, где были развешены окорка.

Всевозможную деревенскую провизию она заготовляла в Крюковке в таком расчете, чтобы ее хватило не только на круглый год для бабушкиного дома и для ее собственного, но и для многих родственников.

Бабушка не терпела у себя в Кирьяковке никакой птицы, не позволяла держать и свиней, ревниво охраняя сад и посадку вокруг дома.

В Кирьяковке было только много коров и был между ними лобастый черный бык, которого все, кроме Игната, боялись.

Но вечером, когда загоняли его в особую загороду коровника, все были не прочь полюбопытствовать, — такой он был статный и красивый.

Молочное хозяйство процветало в Кирьяковке и было в непосредственном заведывании Надежды Павловны.

Творог, сметана, масло, все это заготовлялось в изобилии и

доставлялось зимою в город. В городе держали только двух коров, так как ежедневная доставка молока была бы затруднительна.

В числе больших лакомств, славился в Кирьяковке овечий сыр, именуемый «брынзой». Слегка прожаренный на сковородке, он подавался к столу в виде закуски.

Брынза изготовлялась на «кошарах», под наблюдением, знатока этого дела, Юрия Филипповича.

Как только мы въезжали на Крюковский двор, побрякивая бубенцами, тотчас же поднималось, со всех сторон, голосистое кудахтанье крюковских обитателей.

«Тетя Лиза», всегда в сопровождении целой стаи босоногих «девок», помогавших ей по хозяйству, первая появлялась откуда-нибудь неожиданно, с поднятыми вверх руками, носящими на себе следы продукта, в данную минуту, ею заготовляемого.

Она быстро «кудахтала», сыпя приветствиями и восклицаниями, громче самой большой кахетинской курицы, отчего ближайшие индюки тотчас же распускали свои хвосты, напрягали свои красно-чешуйчатые кадыки и принимали живейшее участие в нашей встрече.

Взрослые кузины, Люба и Леля, большею частью, прямо со сна, выскакивали к нам в туфлях на босую ногу, в разлетающихся, мягких легких капотах.

Нередко у них гостили такие же взрослые девицы, как они сами, из дальних родственниц; эти появлялись позднее уже тщательно причесанные и во всем городском параде.

Молчаливый, добродушный Ваня, аспирант на первый офицерский чин, с вымазанными в чернилах пальцами (он усиленно готовился к офицерскому экзамену), вылезал из своей летней конуры, где часами подзубривал свои «уставы и науки».

Дом сразу оживлялся.

«Тетя Лиза», перецеловав и обласкав всех, не забывая при этом держать руки у себя за спиной, чтобы «не обмарать кого», спешила позаботиться об обеде и угощении и беспрестанно исчезала то на кухню, то в «заднюю галерею», где обычно, в торжественных случаях, накрывался обыденный стол.

Вокруг Крюковского дома была только тощая растительность. Несколько кустов чахлой сирени и желтой акации, с двумя тополькими, и скрипучим «журавлем» у колодца, именовалось «садом».

Девицы поочередно приводили себя в порядок и, по мере своего появления, принимались развлекать и забавлять нас.

Но всех деятельнее в этом направлении проявлял себя молчаливый Ваня, который оживлялся постепенно до неузнаваемости, видимо счастливый тем, что выпадал законный

повод забыть на время разом и «уставы», и «науки».

Голубятня была в его ведении, и он немедленно влек меня к ней, брал поочередно в руки голубей, которые были разных цветов, рекомендовал и называл некоторых и особенно демонстрировал какого-то «крапчатого», в качестве изумительного «турмана».

Он обещал, после обеда, когда спадет жара, «погонять голубей», т. е. заставить их летать, всей стаей, высоко над голубятней, так, что приходилось задирать голову, чтобы не потерять их из виду.

Он и исполнял всегда обещание. Некоторые голуби залетали так высоко, что казались точками, а знаменитый «турман», при спуске, показывал просто фокусы, кувыркаясь, несколько раз подряд, через голову.

Затем качели, и до обеда, и после обеда, были предметом нескончаемых наших вожделений. И mademoiselle Clotilde и взрослые девицы не отказывались от этого удовольствия. Раскачивали качели очень высоко, над чем старались, приседая на одном конце доски, Ваня, а на другом одна из босоногих «девок» из «тетилизиной команды».

Об обеде, который подавался в час, об его изобилии и прелестях, нечего и говорить.

Мама и mademoiselle Clotilde заботились только об одном: чтобы мы не заболели и, всячески, старались умерить мой аппетит. Но «тетя Лиза» находила все эти предупреждения праздными. Зная только несколько французских слов, она беспрестанно приговаривала, поглядывая на Клотильду Жакото: «oui, oui, russe mange! russe mange!»[21]

Но и сама наша милая Клотильда не была вовсе petite bouche и ела охотно. Да и кто мог бы устоять перед сковородкой, на которой еще потрескивала от жара малороссийская колбаса, нарезанная толстенькими ломтиками, с прильнувшей к ней, зарумянившейся, мелко крошенной, капустой. А вареники всевозможных сортов, и с творогом и с вишнями, и с чудной, при этом, сметаной, а всевозможные сласти, и арбузы и дыни!..

Разве можно было от всего этого отказываться, когда тетя Лиза, несмотря на все протесты мамы, все подкладывала и подкладывала на тарелки. А я все это обожал.

И, ничего, все великолепно сходило потому, что поддалось со вкусом и охотой.

После обеда, который, благодаря хлопотне и неумолкаемому кудахтанью тети Лизы, проходил всегда оживленно, дядя Всеволод выкуривал свою толстую папиросу Жукова табака, заправленную в еще более толстый черешневый мундштук, с

янтарным наконечником, распространяя на всю галерею сладковатый запах обильного голубоватого дымка.

Дома у себя он курил также «Жукова», но в трубке, с очень длинным черешневым чубуком.

После обеда дядя Всеволод любил часок-другой отдохнуть и тетя Лиза настаивала, чтобы он прошел в «папенькин кабинет».

Она в неприкосновенности сохраняла кабинет покойного отца, в том самом виде, как он был при нем, и любила, чтобы «братец» (дядя Всеволод) в этом каждый раз убеждался.

Она застилала кожаный диван чистой простынкой и наносила целую гору подушек. Дядя Всеволод каждый раз убирал их прочь, оставляя, для головы, только одну, кожаную, заправленную в чистую наволочку.

Я часто за ним следовал туда, потому что очень любил его, и, пока он укладывался, разглядывал все, что было в комнате.

Здесь все было очень просто.

Немного мебели красного дерева, с кожаными, потемневшими сиденьями. Застекленный книжный шкаф, в котором книг не было, но на верхней полке которого аккуратно было разложено несколько орденов покойного, черный «с языком» галстух, треугольная шляпа и кортик.

На остальных полках лежало несколько альбомов с чертежами и рисунками кораблей, которые я, каждый раз заново, перелистывал.

На стене над диваном висела очень потемневшая, в простой деревянной раме, картина.

По словам тети Лизы ее рисовал будто бы сам покойный, который и чертил и рисовал недурно; дядя же Всеволод за верное утверждал, что ее нарисовал друг покойного, по фамилии «Рябый», казак по происхождению, знавший хорошо и любивший казацкий быт. Свое утверждение дядя Всеволод подкреплял указанием и на едва приметную букву «Р» в нижнем уголке картины.

Картина изображала толстого, усатого, с бритой головой и чубом, совершенно голого по самый пояс запорожского казака. Он сидел на полу «по-турецки», т. е. скрестив под собой босые свои ноги и, наклонившись, пристально выискивал что-то в снятой с себя и распластанной на его коленях, сорочке.

В самой картине, кроме сизого носа казака и его чуба, ничего не было особо примечательного, но под его изображением шла, в четырех строках, целая, приписка тщательно и отчетливо сделанная красной краской.

Дядя Всеволод никогда не упускал случая громко прочесть ее, сопровождая чтение добродушнейшим смехом.

Вот, что гласила приписка:

Казак, душа правдива,
Сорочки не мае,
Коли не пье, то воши бье,
А все же, не гуляе!

Когда мы возвращались обратно в Кирьяковку, нагруженные разными кулечками и корзинками, я, восседая опять преважно на козлах, рядом с Игнатом, и не зная, как ярче выразить всю полноту моего удовлетворения прожитым днем, полным новых ощущений, принимал вдруг разгильдяйский тон и начинал без конца скандировать полюбившееся четверостишие под картиной, разом затверженное мною наизусть.

Игнат и дядя Всеволод смеялись, мама сердилась и кричала мне в спину: «не смей повторять гадостей», а mademoiselle Clotilde недоумевая, спрашивала: «mais qu'est ce qui'l radotte la haut?»[22]

Глава семнадцатая

В котором это могло быть году, решительно не помню.

Но было это вскоре по воцарении Государя Александра II, после смерти Императора Николая Павловича.

В городе пошли слухи, что новый Государь пробудет несколько дней в Николаеве, проездом в Севастополь.

Перед тем дядя Всеволод как-то свозил меня в Морское Собрание, чтобы показать недавно водруженный на стене парадной залы, портрет нашего «нового Царя».

Какой видный, чарующий ласковым взглядом, красавец.

Все были в восторге от него.

Только и говорили о выпавшем, в его лице, счастьи для России. Все как-то оживились и радостно чего-то большого ждали.

Сначала слухи о его приезде в Николаев были очень смутны, они то усиливались, то замирали вовсе.

Но вот, маме пришло письмо из Петербурга от тети Сони и получилась полная достоверность.

Тетя Соня писала маме, что поездка Государя, и именно через Николаев, решена окончательно и что в свите Государя будет состоять и ее муж, Николай Андреевич Аркас, недавно произведенный в контр-адмиралы и получивший придворное звание генерал-адъютанта.

Она писала, что очень ему завидует, но не может последовать за ним, так как у нее только что родился четвертый ребенок, мальчик Володя, и ей невозможно двинуться в дальний путь с детьми.

Письмо это положило конец всяким сомнениям относительно проезда Государя именно через Николаев и мама стала усиленно делать визиты знакомым, чтобы оповестить их, из самого достоверного источника, о предстоящем знаменательном событии.

Когда эту весть о приезде Государя мама, «секретно», сообщила и Владимиру Михайловичу Карабчевскому, он моментально возгорел желанием, во чтобы то ни стало, отличиться в качестве полицеймейстера.

Не дожидаясь официального подтверждения, он поднял на ноги весь город.

Дали знать и в Херсон, губернскому почтмейстеру, Аполлону Дмитриевичу Кузнецову, а тот тотчас же поскакал на ревизию соответствующего почтового тракта по губернии.

Пошел усиленный «ремонт» почтовых лошадей.

Проездом через Николаев, Аполлон Дмитриевич очень благодарил маму за то, что она не забыла предупредить и его заблаговременно.

В то время Николаев представлял собою не столько благоустроенный город, сколько широко раскинувшееся, богатое и очень населенное поселение.

Кроме «дворца», со многими флигелями и огромным садом, где жил главный командир Черноморского флота (одновременно и военный губернатор города Николаева), примыкавшего к нему великолепного бульвара, по возвышенному берегу реки Ингула, со многими аллеями и сплошной линией чудных тополей, вдоль замыкающей бульвар с улицы ажурной чугунной решетки, здания Морского Собрания, штурманского училища и еще нескольких казенных зданий, церквей и казарм, все остальное представляло собою как бы ряд отдельных усадеб, с бесконечными заборами.

Много городских домов не выходило вовсе фасадами на улицу, а ютилось в глубине дворов.

По этому поводу ходила версия, что эти «угольные», или «такелажные» дома, всегда одноэтажные, незаметные с улицы, построены «казенными средствами», в дар власть имущим от поставщиков угля и такелажа для флота.

И строились они внутри дворов, как бы таясь, чтобы не слишком мозолить глаза высшего начальства и не привлекать к себе внимания наезжавших, от времени до времени, ревизоров.

Характерной усадьбой такого вида, среди города, (и даже, в лучшей его части) был дом бывшего в течение многих лет правителем канцелярии военного губернатора, потом отставленного, некоего Б., про которого сложилась целая легенда.

Он доживал свой век большим оригиналом и не пользовался доброй славой. Утверждали, что сыновей своих, которых у него было четверо, он порешил не учить и, когда они подросли, обернул их для своих личных услуг. Одного он сделал поваром, другого кучером, третьего дворником и водовозом и только четвертого научил плотничать и быть маляром, чтобы иметь дарового мастерового для ремонтов по дому. Две взрослые его дочери ходили за коровами и вели домашнее хозяйство.

Одевал он их соответственно их занятиям, проявляя неимоверную скупость в расходовании денег на их нужды.

Жену свою, как утверждали, он замучил своим невыносимым самодурством и, даже, «вогнал ее в гроб» жестоким обращением.

Теперь он царил одиноким барином среди своего раболепно-покорного, безличного потомства.

Утверждали, что он был настолько скуп, что не держал собак, чтобы не кормить их, но сам по ночам выходил и лаял во двор.

Это были россказни, но факт был тот, что лично себе он не отказывал в комфорте и был большим гастрономом. Только семью он держал «на людском» положении и не имел с нею ничего общего.

На сытой, пегой лошадке, запряженной в «гитару», он почти каждый день, аккуратно, в определенный час, проезжал мимо наших окон и его, почти заросшее бакенбардами, «обезьянье», как мне казалось, лицо, навсегда врезалось у меня в памяти, благодаря всем о нем рассказам.

Он сидел на своей «гитаре» верхом, держа над собой большой холщовый зонтик, в фуражке с прямым козырьком и в синих очках на крошечном, как бы приплюснутом носу. На козлах, за кучера сидел его второй сын, тощий малый, лет пятнадцати, одетый не по-кучерски, а в лоснившемся пиджаке, коротких коломянковых штанах и в мятой, выгоравшей фуражке, на стриженой голов.

Мама всегда возмущалась при виде его, и Матреша как-то сболтнула при мне: «каждый день до своей вдовы матроски на слободку ездит, барыней ее, сказывают, одевает».

Правильно разбитые, городские кварталы Николаева разделялись широчайшими улицами, немощенными, кроме одной шоссированной — «адмиральской», ведущей от дворца к соборной площади и адмиралтейству, которая, казенными средствами, содержалась в порядке.

Остальные улицы, в самом городе, большею частью песчаные, а по низу, в слободке, черноземные, отличались абсолютною первобытностью.

Осенью последние, благодаря тягучей, липкой грязи, были непроездны, а пешеходам предстояло прыгать, «с камушка на камушек», чтобы добраться до города.

Городские улицы после дождей и, вообще, осенью и зимой, были и лучше и чище, зато летом, когда было сухо, а по временам и очень ветрено, сухой песок залегал так глубоко и прихотливо, что в иных местах настояний песчаный дождь сыпался с колес, когда экипаж ехал шибко. Рытвин и ухабин было тоже не мало; но кучера и извозчики знали их на перечет и, благодаря ширине улиц, их всегда можно было миновать.

Владимир Михайлович, в качестве энергичного полицеймейстера, был весь погружен в соображения о том, по каким именно улицам Государь может «иметь проезд».

По этому поводу у губернатора было несколько совещаний, на которые ездил и наш «дядя Всева», в качестве командира флотского экипажа, в казарму которого мог заглянуть Государь, проездом в Адмиралтейство.

Адмиралтейскую улицу стали приводить в образцовый порядок в первую голову; соборную и бульварную тоже.

Все заборы штукатурились, красились, или белились заново, равно как и дома и палисадники.

«На всякий случай» полицеймейстер обратил внимание и на остальные улицы и, почти по всему городу, пошла хлопотливая работа.

На улицах всюду подсыпались и выправлялись ухабы и рытвины. На купеческой, «по кварталу Купеческого собрания», соорудили заново шоссе. На церквах кое-где золотили кресты и освежали крышу куполов.

Бравый полицеймейстер носился на своей паре, в пристяжку, по всему городу пуще прежнего и сыпал распоряжениями и приказами.

Бабушкин дом, стоявший хотя и в центре города, но в стороне от казенных зданий, едва ли мог рассчитывать на то, что Государь проедет мимо, тем не менее и он был побелен заново, также как и задняя стена его двора, вытянувшаяся длинным белым полотнищем по другой улице, по которой мог случайно проехать Государь, направляясь во флотские казармы, или на лагерный плац.

По инициативе дяди Всеволода, вдоль всей этой скучной стены, спешно насадили молодые акации. Матросы его экипажа энергично работали над этим и в казенных бочках привозили воду для поливок.

Было ли это весною, летом, или осенью, не вспоминаю, помню только, что погода стояла прекрасная в те дни, когда ожидался Государь.

В день его въезда в город мы, целой компанией, с мамой, кузинами, Клотильдой Жакото и знакомыми, забрались на вышку балкона «Молдованки» (летнего Морского Собрания), против бульвара, откуда видны были часть моста на Ингуле и дальше за ним ровная, гладкая, широкая дорога. По этой дороге и должен был ехать Государь со всей своей свитой. — На бульваре скопилось масса любопытных, хотя «черный народ» туда не пускался, а была одна «публика».

Был также запружен весь спуск к мосту, через который был въезд в город с севера.

Главный командир Глазенап, со своим штабом, и полицеймейстер, на своей лихой паре, заранее выехали на встречу царского кортежа, к «хуторской границе», верст за пять от города.

Едва начинало смеркаться и дорога еще не пылила, как стали зажигаться сальные «плошки» вдоль всего моста и спуска к нему,

на вершине которого т. е. при въезде в самый город, в центре триумфальной арки, из зелени и флагов, вдруг засветился царский вензель, увешанный разными цветными фонариками.

Наконец, что-то совсем фантастическое привиделось нам вдали, на дороге.

Среди облака светящейся пыли, двигались и прыгали отдельные яркие огоньки и само движущееся облако казалось волшебным сиянием.

Раньше впереди, едва приметно, мелькнула пролетка полицеймейстера, на которой он, стоя, держась за плечо кучера, повернутый лицом назад, мчался во всю прыть. За ним едва поспевали двое казаков верхами.

Дальше трудно было понять и разглядеть, кто ехал еще впереди….

Но царский крытый дормез, запряженный шестериком, с форейтором впереди, сразу можно было различить, так как он был окружен группою мчавшихся по его бокам всадников с зажженными факелами в руках.

Верстах в десяти от Николаева, у самой почтовой дороги был поселок «Терновка», населенный исключительно болгарами. Туда ездили иногда николаевцы в день св. Георгия на местный храмовой праздник, который сопровождался ярмаркой, музыкой, танцами, играми, конскими состязаниями и борьбой.

Болгарские молодцы устроили встречу Государю и сопровождали его на своих малорослых, но выносливых и быстрых лошадях, с горящими факелами в руках, вплоть до самого дворца.

Это было очень красиво.

Как только кортеж стал приближаться к мосту, послышалось сразу сплошное гудение несметного количества голосов. В городских церквах зазвонили в колокола.

Крики «ура», нарастая издали, все усиливались и усиливались, захватывая все груди, все сердца.

Мы тоже стали кричать «ура», я, в особенности, усердствовал, не закрывая рта, хотя нашего «ура» не мог слышать Государь, так как его дормез, и весь царский кортеж, помчали не по бульварной, а по адмиралтейской улице, а мимо нас проехало только несколько отсталых, открытых тарантасов, с царской прислугой и багажом, на запотелых, едва переводивших дух, почтовых лошадях.

Помнится, что мы еще, всей компанией, направились ко дворцу, и, благодаря тому, что нас знала полиция, подходили к самому дворцу, проникнув за его ограду.

Но в нижних, полуподвальных окнах его разглядели только

суетливо мелькавшую прислугу, в числе которой были уже, в белых куртках и колпаках, и повара.

Глава восемнадцатая

Когда мы вернулись домой, то застали Надежду Павловну в больших хлопотах.

Оказалось, что Николай Андреевич Аркас, прибывший в свите Государя, будет ужинать со всеми нами.

Он дал об этом знать бабушке, сообщив, что Государь, зная, что в Николаеве у него имеются близкие родственники, милостиво разрешил ему пользоваться их гостеприимством в свободное от служебных занятий время.

Для него уже была приготовлена комната, рядом с большой гостиной, бывший дедушкин кабинет. Там была его вализа, была поставлена постель и Иван (Ванька) был горделиво возбужден при мысли, что он будет услуживать «царскому адъютанту».

Нас привели к ужину умытыми, причесанными, переодетыми, словом в параде, когда Николай Андреевич уже сидел на диване, рядом с бабушкой, в ярко освещенной гостиной.

Мама сидела с другой его стороны, а дядя Всеволод в кресле, подле бабушки. Тут же был и Аполлон Дмитриевич, скакавший, как оказалось, впереди царского поезда, в качестве губернского почтмейстера, чтобы готовить лошадей.

Он весь сиял, так как Николай Андреевич сообщил ему, что проезд по Херсонской губернии прошел образцово, и Государь, несколько утомленный дорогой, заметил это.

Адмиралу, Александру Дмитриевичу Кузнецову, также дано было знать о приезде Николая Андреевича и его приглашали к ужину, но он отвечал через посланного, что никогда не ужинает, ложится рано спать, а «его превосходительство» успеет повидать и завтра.

Как я узнал впоследствии, «адмирал Александр Дмитриевич» не любил «адмирала Николая Андреевича», считая последнего «придворным шаркуном», и не мог ему простить, что флигель-адъютанта он получил не за что иное, как за командование первым пароходом «Владимир», спущенным в Черном море, после чего парусные корабли вовсе перестали сооружаться.

Сестру и меня Николай Андреевич встретил ласково, расцеловал и очень нас разглядывал. Сестру он знал уже двухлетней, а меня «держал на руках», когда мне было несколько месяцев.

Меня он называл своим «тезкой», а его просил называть «дядей Колей». Объявил, что старший его сын почти мой ровесник, тоже Николай, и родился в Николаеве; остальные же трое, Константин, Софья и Владимир, в Петербурге.

Под конец, он сказал, что привез нам подарки от тети Сони, которая нас крепко целует, и что, с ее слов, дети его уже нас хорошо знают.

Действительно, на другой день мама передала сестре Ольге большую, разодетую в платье и бурнус куклу, которая открывала и закрывала глаза и была в большой соломенной шляпе. Рукою тети Сони на листке бумаги была надпись, что ее имя «Соня».

Я же получил тяжеловесный деревянный ящик, в котором рядами были уложены оловянные солдатики, пешие и конные, с офицерами, генералом и трубачами на белых конях. Тут же были пушки и лагерные палатки.

За ужином, в очень ярко освещенной столовой, золотой аксельбант Николая Андреевича и его новые блестящие погоны, с черными орлами, красиво блестели, а сам он, сидя между бабушкой и мамой, как-то весь сиял, притягивая к себе всеобщее внимание.

Мне он казался очень красивым, со своим молодым, ярким цветом лица и слегка седеющими бакенбардами и такими же волнистыми волосами на голове.

За столом он вел беседу почти исключительно о своей семье, о тете Соне и о детях, говоря о каждом в отдельности.

О тете Сон он, не без горечи, объяснял, что она никак не может свыкнуться с Петербургом, не выносит его климата и уклоняется от придворных выездов.

Ее конечная мечта попасть, рано или поздно, на юг и он, Николай Андреевич, сделает все от него зависящее, чтобы это скорее осуществилось.

Дети часто прихварывают в Петербурге, но летом в Царском Селе и Петергофе поправляются.

О новом Государе он сказал, что он чарует всех, кто только к нему приближается и что, во всю длинную дорогу на почтовых об Москвы, он заботился об удобствах всех своих спутников.

К концу ужина Николай Андреевич сказал, что завтра в 8 час. утра он должен ехать во дворец, чтобы сопровождать Государя, и просил маму предоставить ему ее пару в коляске, на время пребывания Государя в Николаеве.

Я не утерпел. Когда мы возвращались к себе, после ужина, я подбежал к окну, где жил кучер Николай, со своей Мариной, почти рядом с экипажным сараем, и постучался к ним. Было не поздно и они еще не ложились.

Я сообщил Николаю то, что слышал за ужином, но, оказалось, что он был уже предупрежден Иваном, которому мама шепнула передать приказание Николаю быть в 8 час. утра готовым подать коляску адмиралу.

Беседуя с Николаем, я поинтересовался: а царя кто же повезет?

Мне казалось, что наша пара, а особенно «Мишка», вполне заслуживают подобной чести; притом же я знал, что у Глазенапа (главного командира) пара весьма неказистая; жена его боялась шибкой езды и лошадей он держал наемных.

Оказалось, что не менее меня, Николай был озабочен этим вопросом, хотя отчасти был уже осведомлен.

Он слыхал, что «под царя» полицеймейстер наметил пару «откупщика», который на весь город кичился своим «выездом», недавно ему из Москвы доставленным.

Об его паре Николай был мнения среднего. Он признавал, что видные караковые жеребцы статьями «хорошо собраны», но «ногами много зря кидают» т. е. идут красиво, но далеко не ходко; кроме того он отмечал, что они «тамбовские» и кони «сырые».

Для государевой свиты, как вызнал Николай, лошади были набраны больше у извощиков, которые в те времена в Николаеве были сплошь парные и очень, хорошие. Некоторые извощики, например Федор, Васько и Абдулла, своими выездами и своим кучерским облачением, ничуть не уступали «собственным».

Просыпался я, обычно, часу в десятом утра, а тут просил Марину разбудить меня на утро в семь, пока еще все в доме спали. Через полчаса я был уже в сарае, где Николай и Марина заканчивали запряжу.

На лошадях была новая, с «золотым набором», сбруя, которая надевалась только в самых экстренных случаях; гривы, чолки и хвосты у лошадей лежали пышно и волнисто, видно было, что Николай заплел их с вечера.

Сам Николай обрядился также во все новое, что надевалось только в самые большие праздники и еще когда его отпускали ехать «под молодых», на свадьбы. Выглядел он совсем кучером с картинки.

Раньше, чем взобраться в своем длиннополом армяке на козлы, он приподнял свою, блестящую новизной «шелковую» шляпу и трижды набожно перекрестился.

Когда Иван с крыльца гаркнул «кучер, подавай», ворота сарая распахнула Марина и Николай, малой рысью, подал к крыльцу.

Я не утерпел, забежал в сад, откуда мог, оставаясь незамеченным, глядеть, как будет садиться в нашу коляску, чтобы ехать к государю, Николай Андреевич.

Он вышел с парадного крыльца в мундире, с красной лентой через плечо, в треуголке на голове и в накинутой на плечи длинной серо-голубоватой шинели.

Из всех окон дворня уставилась на него.

Он поздоровался с Николаем, которого знал раньше, когда не уезжал еще в Петербург.

Николай не обробел нисколько, а чинно отвечал ему «здравия желаю» и еще спросил о здоровьи барыни Софии Петровны и всех деток, на что получил ласковый ответ что все, «слава Богу, благополучны».

Как раз в это время входил в ворота, возвращаясь. с своей первой, ранней утренней прогулки, адмирал Александр Дмитриевич, в своей люстриновой серой накидке и в форменной высокой фуражке прежнего образца.

Контраст обличия «двух адмиралов» мне показался разительным.

Николай Андреевич первый приветствовал отставного адмирала, называя его «вашим превосходительством» и протянул ему руку; тот пожал ее, назвав его также «вашим превосходительством», но обменялся всего двумя — тремя короткими фразами и быстро прошел в свой флигель.

Когда Николай Андреевич, поддерживаемый Иваном, оправившим сзади его шинель, сел в коляску и Николай тронул лошадей и выехал за ворота, я из сада тотчас же юркнул на крыльцо к Ивану.

— За царем тоже не всякий поспеет… Ну, этот поспевать может! — промолвил он, весь погруженный в созерцание опустевших, широко открытых ворот.

Кого имело в виду это восклицание Ивана, я не понял. Разумел ли он «царского адъютанта», или нашего кучера Николая, с его ходкой парой, осталось для меня, да может быть и для него самого, тайной.

Глава девятнадцатая

Государь пробыл три дня в Николаеве.

Был спуск нового парового судна, осмотр адмиралтейства и флотских казарм, обсерватории, штурманского училища и вновь выстроенных «инвалидных домиков», вдоль одной из дорог «Лесков», для севастопольских увечных героев, и т. д.

Был большой смотр войскам на лагерном поле и два парадных бала, один в Морском Собрании, в прекрасном «мраморном зало» для вечеров, другой-в помещении Купеческого Собрания, от Херсонского дворянства, куда было приглашено и именитое городское купечество.

Мамы и дяди Всеволода в эти дни мы почти не видели; они, а с ними вместе кузины Люба и Леля бывали всюду, где был царь.

Нас на бабушкиных лошадях повезли только на смотр войск, но, за пылью, не только царя, но и вообще чтобы то ни было трудно было разглядеть.

Николай Андреевич только едва поспевал переодеваться то в свитскую, то в морскую форму. Он отпускал Николая на несколько часов домой и приказывал к такому-то часу вновь «подать» туда, или сюда.

Завтракал и обедал он, большей частью, во дворце, а раз и ночевал там, когда был «дежурным генералом».

Само собою разумеется, что каждый раз, когда Николай въезжал шагом во двор, на запотелых лошадях, я спешил ему на встречу.

Бедному Мишке и Черкесу, было ясно, доставалось очень. Черкес уже к концу второго дня стал заметно «спадать с тела».

И было два события, касавшиеся Николая и его пары, который неизгладимо врезались у меня в памяти.

Первое имело место к вечеру второго дня. Я застал Николая в сарае; он вырезывал, острым ножиком, узкий длинный ремешок и стал налаживать его на валявшееся раньше где-то в углу тонкое кнутовище.

Я чуть не ахнул, так как знал хорошо, что Николай никогда не имел при себе кнута. Наладив его, он подложил его под кучерское сиденье.

«На случай» — объяснил он мне, — опасаюсь, как бы Черкес не стал «сдавать»; за Мишку он был еще совершенно спокоен.

Второе событие было еще знаменательнее, еще важнее.

На следующий день, когда Николай, после смотра парада, въехал во двор, разыгралась такая сцена.

Осадив лошадьми экипаж в сарай, он молча слез с козел,

встал на колени на подножку коляски и, сняв шляпу, истово перекрестился, а затем набожно приложился губами к сиденью коляски с правой ее стороны.

Марина и я остолбенели.

Невольно мелькнула мысль, не рехнулся ли Николай, или не напился ли он.

Но скоро все объяснилось.

Царь проехал в его коляске от самого лагерного поля до дворца. Выходя у подъезда из экипажа, он даже, случайно, коснулся его плеча.

Надо было видеть мое и Марины растерянное изумление и лицо самого Николая, с увлаженными умиленным восторгом глазами.

Вышло, по его словам, это так: крики ли толпы, или необычайная обстановка смотра, с музыкой и барабанным боем, напугали «откупщицкую пару», только кучер не смог никак подать лошадей во время к Государевой ставке, тогда Николай Андреевич и полицеймейстер приказали подать Николаю.

Рядом с государем сел не наш адмирал, а какой-то, еще более важный, генерал, которого величали «сиятельством», и с которым государь всю дорогу разговаривал «непонятно» не по-русски.

Среди бесконечных кликов «ура», лошади только бодрились и он, Николай, домчал государя «в лучшем виде».

Весть об этом необыкновенном событии скоро облетела весь наш двор и люди, поочередно, заходили в сарай поглядеть на то место, где посидел государь.

Домашних я всех тотчас же оповестил и даже сбегал в неурочное время к самой бабушке, чтобы поведать и ей о столь необычном для нашего Николая счастьи. К моему удивлению она осталась равнодушна.

Правда, она не любила Николая и не прощала маме, что та не дала его наказать, в свое время, когда он вывернул ее на тумбе.

Но потом я еще заметил, что и «нового царя» она не так почитала, как недавно умершего, по котором очень долго носила траур.

За то все остальные в доме разделяли вполне гордость Николая и о новом царе иначе, как восторженно, не отзывались.

Николай Андреевич, ужинавший в тот день с нами, перед балом в Морском Собрании — (у бабушки обедали в час и ужинали в половине восьмого), пояснил, что с государем, в нашей коляске, ехал граф Адлерберг и что Николай получит «царские часы», т. е. часы с двуглавым орлом на верхней крышке.

Уезжал государь на военном пароходов «Тигр», кажется, через Одессу в Севастополь.

Пароход должен был отвалить в Спасске не от той пристани, где приставали коммерческие пароходы, а от пристани, нарочито сооруженной на Стрелке, расцвеченной флагами.

Командовал «Тигром» мамин знакомый, капитан Шмидт и мы с мамой стояли очень удобно на самой пристани, рядом с его красавицей женой, Юлией Михайловной. Тут было много разряженных дам, некоторый, как наша мама, были со своей детворой.

У нас, да и почти у всех стоявших на пристани, были в руках букеты цветов, перевязанные трехцветными ленточками.

Стройный красавец, выше всех его окружавших, больше чем на полголовы, государь шел ровно, медленно, отвечая на все приветствия.

Мы бросали к его ногам букеты, бывшие у нас в руках, когда он шел по пристани, а он, словно в такт покачивая во все стороны головой, ласково картавил какую-то благодарность. Я ясно слышал только слова «милые дети», а что дальше еще на ходу он говорил — от меня ускользнуло.

В памяти моей до сих пор еще жива вся его, точно изваянная, фигура на капитанском мостике, когда отчаливал пароход.

По сравнение с окружавшими его, государь казался мне божественно-стройным, дивным, неземным существом.

Как-то грустно было возвращаться домой. Праздничное настроение разом упало.

Николай Андреевич также уехал с государем.

Помню только сияющее лицо Владимира Михайловича Карабчевского, который, задержав дядю Всеволода, как только скрылся пароход, сказал ему: «уф, гора свалилась с плеч! Слава Богу, все прошло благополучно. Приезжай (они были „на ты“) вечерком на преферансик, я соберу кое-кого… Голова у меня, как котел, а тут еще Лиза не сегодня-завтра… Ты у меня будешь крестный, помни»!

Тут только я вспомнил, что эти дни «тети Лизы» нигде не было видно и на пристани она не провожала государя.

Я стал раздумывать о ней и грусть об отъезде государя, как-то незаметно, перешла и на нее.

Мне вдруг стало ее жалко.

Глава двадцатая

Ближайшим последствием пребывания государя в Николаеве были очень усилившиеся слухи о скором отпуске «на волю» всех дворовых людей и об освобождении крестьян от крепостной зависимости.

Помню мама, с кем бы ни говорила, всегда прибавляла: «наконец-то, слава Богу, давно пора».

При бабушке, однако, об этом вовсе не заговаривали, так как эти разговоры ее только расстраивали и худо действовали на ее здоровье.

Из дворовых людей только «Степка-словесник», как прозвала его Надежда Павловна, много разглагольствовал по этому поводу в людских и стал ленив и грубоват.

Иван, наоборот, стал внимательнее и услужливее прежнего и только, пуще прежнего, стал «представлять», т. е. передразнивать кого попало.

Кроме излишеств по словесной части Степан (Степка) начал давать волю и рукам; из девичьей, то и дело, девушки приходили с жалобами к Надежде Павловне: то Степка которую-нибудь ущипнул до синяка, то, попросту, дал тумака, ни за что.

Раз он проявил и грандиозное насилие и мама должна была энергично вступиться за обиженную.

У Степана была сестра, Настя, молодая, очень благообразная и живая девушка, числившаяся «вышивальщицей» среди других рукодельниц бабушкиной девичьей.

Степан вечно ее «вычитывал», а иногда, в качестве старшего брата, куражился и давал ей, походя, подзатыльники.

Однажды все услыхали отчаянные вопли Насти в дальнем, пустом сарае.

Иван, который, кроме своих военных доблестей, был и добрый малый, прибежал к маме сообщить, что Степан «истязует» Настю и уже отрезал ей косу.

Мама тотчас же кинулась туда и, вслед затем, я увидел сцену, которая и сейчас жива перед моими глазами.

Впереди шла мама, ведя за собою, за руку, плачущую навзрыд Настю, у которой, вместо прежней густой косы, гладко лежавшей на ее спине, коротко обрезанные волосы беспорядочно развевались в разные стороны. Сзади шел Степан, держа в руках отрезанную косу, бормоча что-то в оправдание свое и усиленно жестикулируя.

Вся дворня высыпала во двор и глазела на это зрелище.

Мама увела Настю к себе, дала ей отдельную комнату, рядом

с кладовой и не велела больше возвращаться в девичью.

Бедная Настя еще долго хныкала в своей коморке и долго потом не выходила из нее иначе, как накрыв голову платком.

После все как-то хорошо для нее выяснилось и устроилось.

Мама имела большие объяснения с бабушкой, которая сгоряча затеяла было сослать Настю в деревню «пасти свиней».

Но, мама не уступила и затеяла целое разбирательство, причем все в доме «говорили за Настю» и против Степана.

Наконец всем стало ясно, что она ни в чем не провинилась.

Если она иногда и выбегала за ворота пройтись по бульварчику, перед домом, чтобы перекинуться парою-другою слов с подмастерьем ближайшего «золотых дел мастера и часовщика», то это был доподлинно ее жених, который имел намерение на ней жениться, как только она получит вольную и обстоятельства это позволят.

Кончилось дело тем, что Настя осталась совсем у нашей мамы, в качестве ее личной горничной. Коса ее, понемногу, отросла, а жениху Насти было позволено изредка навещать ее.

Впоследствии (уже после смерти бабушки) Настя уже «вольная» служила некоторое время у мамы, была ей очень предана и, когда ее жених открыл, наконец, собственную мастерскую, благополучно вышла за него замуж.

Она была большая искусница и, когда маме нужно было спешно «освежить» вечернее платье, или нашить на него цветы, или «перешить» что-нибудь, она всегда звала Настю.

Настя была бездетна, жила неподалеку и, когда мама собиралась куда-нибудь на бал, или на парадный обед, всегда прибегала ее причесать и помочь одеться.

После отъезда Государя также прошел слух, касавшийся моего и сестры дальнейшего учения. Говорили, что Штурманское училище, имевшее весьма печальную репутацию, будет скоро упразднено и в том же здании откроется семиклассная мужская гимназия, а в казенном здании, против самого дворца, женская.

До тех пор в Николаеве было только два уездных училища — мужское и женское, но они не пользовались доброй славой. — По словам домашних, они были не для нас; там учились только «слободские».

Было еще «Девичье училище морского ведомства», для дочерей нижних чинов флота; там преимущественно занимались шитьем и вышиванием и оно славилось своими рукоделиями.

В общем, как говорили, Государь остался доволен своим пребыванием в Николаеве и был все время в отличном расположении духа.

Адмирал Глазенап и полицеймейстер Карабчевский

удостоились Высочайшей благодарности, чуть ли не наград за образцовый порядок в городе.

В области наиболее для меня близкой проезд Государя не имел столь утешительных последствий.

«Черкес» захворал, начал кашлять и спадать с тела.

Его еще запрягали, но это была уже не та лошадь; вывозил один Мишка. Черкес протянул кое как зиму и весною пал.

Пришлось подбирать в пару к несокрушимому Мишке, новую лошадь и это сопровождалось многими неудачами и разочарованиями.

Наконец, купили у отъезжавшего на службу в Петербург начальника морского штаба Б. подходящую по росту и масти лошадь, вороного жеребца «Орла», но он оказался с «колером», с места иногда закидывался и, только благодаря выдержке Мишки, на нем можно было ездить в паре; в одиночку же он «никак не пошел».

С Николаем, вскоре после отъезда Государя, тоже пошли неблагополучия.

Первое время он ходил, ног под собой не чуя, и вел себя очень чинно, аккуратно, и только по праздникам носил царский подарок, часы с двуглавым орлом.

Но, вдруг, «его прорвало», он не выдержал заклятья не пить и запил, да так, словно хотел наверстать потерянное.

После двух дней запоя, забравшись на кучу песка во дворе, он всю ночь кричал благим матом что-то несуразное. Весь дом поднял на ноги; хорошо, что бабушки уже не было в городе.

На утро на телеге, запряженной Мишкой, свезли его в госпиталь. Хныча и причитая, его отвозила Марина с дворником Степаном, длинным верзилою, с приплюснутым носом, привозившим каждый день на волах спасскую воду в огромной бочке и убиравшим двор.

Я видел, как увозили со двора Николая, который, лежа на самом дне телеги на соломе, не то стонал, не то бормотал что-то.

Очень трогательным, мне, казалось, что именно Мишка, которого он так любил, везет его в больницу.

Оправился Николай и вернулся домой довольно скоро, но заметно изменился с тех пор. В лице он осунулся и пожелтел, седина стала заметна в его аккуратной, козлиной бородке.

Пить он, по-видимому, вовсе перестал, но начал кашлять жаловаться на боли в груди.

Он протянул еще несколько лет и умер от чахотки, когда я уже кончал гимназию и у меня была уже собственная лошадь «Арабчик», на которой я ездил и верхом, и в легком кабриолете.

«Мишка» был жив и тогда, но постарел и отяжелел, хотя, по-

прежнему, несмотря на возраст, оставался лошадью без пороков.

Когда Н. А. Аракс приобрел от бабушки именье «Богдановку» и когда уже самой бабушки в живых не было, мама отправила «Мишку» в Богдановскую конюшню доживать свой век, без работы, и ходить с табуном на свободе.

Я видел его там и трогательно с ним простился, уезжая в Петербург, в университет.

«Мишка» честно и славно прожил свой лошадиный век и мирно опочил, когда ему шел уже третий десяток лет.

Я получил об этом весть в Петербурге в письме мамы, которая не забыла известить меня об его кончине.

Глава двадцать первая

Мне шел десятый год, а сестре двенадцатый, когда слухи о двух гимназиях, учреждаемых в Николаеве, приняли характер достоверности.

Открытие их предполагалось ровно через год, с будущей осени.

Маму стал волновать вопрос о нашем дальнейшем образовании. Она еще не решила: поступим ли мы в гимназию, или только воспользуемся гимназическими учителями для уроков на дому?

Во французском языке и во всем нам преподаваемом mademoiselle Clotilde мы были довольно сильны и подвинулись очень, но русский язык был, поневоле, в загоне.

В городе не находилось подходящего преподавателя.

Как раз в это время, директором уездного училища, с целью его преобразования, было назначено новое лицо, о котором по городу стали ходить самые благоприятные слухи.

Говорили, что это вполне образованный, окончивший курс Одесского лицея, молодой человек, имевший, однако, уже некоторый опыт в качестве преподавателя русского языка в Одесском Институте для благородных девиц.

Начальница института писала о нем маме и очень расхваливала его.

Звали его Григорием Яковлевичем Тумило-Денисевичем.

В самом здании училища он имел квартиру и жил там холостяком, отчасти оригиналом.

Уроженец Крыма, он был страстным любителем верховой езды и, как говорили, привел с собою двух замечательных крымских иноходцев.

Мало того, уверяли, что он не держит никакой прислуги, кроме подростка-татарченка для комнатных услуг, ходит сам за своими лошадьми и сам же, когда вздумается, готовит себе кушанья в изобретенном им, особого устройства, самоваре, разделенном внутри на несколько отделений.

С этим самоваром и с парою лошадей, с одною для вьюка и другою под верх, он объездил весь горный Крым, побывал и в горах Кавказа.

Мама решилась написать ему и пригласить для уроков, хотя и слышала, что он уклоняется принимать подобные предложения, так как, будучи не без личных средств, не ищет частных занятий. Пошел он в уездное училище, не желая оставаться праздным и, по убеждению, надеясь быть полезным в деле народного

образования.

Нам посчастливилось: от Григория Яковлевича получилось согласие.

Было условленно, что в такой-то день, после трех часов, когда кончаются занятия в училище, он явится к нам.

День этот настал и был серенький, дождливый.

Мама приказала Николаю запречь карету, в которой делала визиты и выезжала на вечера, и послала ее за нашим будущим учителем, так как училище отстояло довольно далеко.

Мы с нетерпением ожидали, когда Николай въедет во двор, но он долго не возвращался.

Стали сомневаться, не напутал ли он чего, и выслали Ивана поглядеть с улицы, не видать ли кареты.

Я выскочил вслед за ним на улицу, а, затем, вызвал скоро и всех домашних, так как то, что я, наконец, увидел, повергло меня в крайнее изумление.

Николай ехал шагом, ближе к краю улицы, а, почти рядом с ним, шел пешком с зонтиком в руках, в летней разлетайке, в круглой, мягкой, черной шляпе, сухощавый, довольно высокого роста господин, с небольшой темной бородой и довольно длинными волосами, развевавшимися из-под шляпы.

Прежде всего, мы подумали, что с экипажем что-нибудь приключилось, а потому озабоченно встретили шествовавшего рядом с каретой господина.

Он вежливо снял шляпу и, улыбаясь, на расспросы мамы, сказал, что ровно ничего не случилось, что он давно отпустил кучера, так как его напрасно беспокоили, что в карете он ездить не привык и, вообще, экипаж за ним посылать совершенно не надо.

Все это говорил он просто, без рисовки.

Говор его был тихий, ровный и отличался какою-то задушевною мягкостью. В глазах его, пока он добродушно объяснял, как Николай не пожелал ухать, а, шаг за шагом, следовал за ним, опасаясь, вероятно, чтобы «учитель на первых же порах не сбежал», забегали веселые огоньки, а когда мама подивилась его оригинальному упорству, Григорий Яковлевич, стоя перед мамой на крыльце, без шляпы, принял всей своей фигурой такое смиренно-комическое выражение, как будто хотел сказать: «извините, но уж таков уродился!»

Уроки наши с ним пошли успешно, начавшись как-то совсем для нас незаметно.

Историю (пока древнюю) он рассказывал нам так интересно и иногда забавно, что мы, с сестрой, жалели, когда урок кончался.

Наизусть он ничего «не задавал» нам учить; да мы уже с

mademoiselle Clotilde научились передавать своими словами то, что прочитывали.

Стихи он любил и просил выучить некоторые Пушкина, Лермонтова и Тютчева.

Сам он читал их очень хорошо, также как и прозу. Мама всегда приходила послушать, когда он читал нам из Пушкина или Гоголя.

Меня он очень приохотил к чтению и из маминого книжного шкафа, где был весь Жуковский, Пушкин, Лермонтов и Гоголь, я постоянно утаскивал какой-нибудь том, чтобы почитать на ночь, раньше чем заснуть.

Раз так начитался Гоголевского «Вия», что всю ночь трусил и спал тревожно. Вообще «ночные страхи» были мне не чужды, иногда я должен был укрываться с головой, чтобы уйти от чего-то незримого, от какого-то таинственного мира, проявляющего свое присутствие вокруг нас именно ночью. Чтение втихомолку первой попавшейся книжки немало способствовало такому настроению. Одно время я просто боялся «темноты» и не решился бы войти в неосвещенную комнату. Темноты же на воздухе, когда на небе все-таки светили звезды, я нисколько не боялся.

Личное мое «приятельство» с Григорием Яковлевичем весьма скоро установилось на вполне прочных основаниях.

Достаточно сказать, что в начале он приходил к нам на уроки пешком, а, когда ближе познакомился в доме, где его все полюбили, стал приезжать верхом, то на сером иноходце, то на золотисто-гнедой, живой и грациозной, как лань, кобыле «Джальме».

Въедет, бывало, шажком во двор, так что не услышишь, привяжет лошадь у решетки сада и идет прямо в классную, в своем обыкновенном одеянии, без краг, или ботфортов на ногах, даже без штрипок у брюк.

Я как-то не утерпел, спросил его: можно ли без этих аксессуаров ехать верхом на лошади? Он усмехнулся и ответил: «кто умеет ездить, тому можно.»

Николай, конечно, тотчас же убирал лошадь под навес, или в конюшню, отпускал подпруги и подкидывал свежего сена; овса Григорий Яковлевич, раз навсегда, просил не давать, раз лошадь еще, так сказать, на ходу.

Не трудно догадаться, насколько велико было мое увлечение спортсменством Григория Яковлевича и как я облюбовал его, — как он их называл, — «лошадок».

Велико было мое торжество, когда он однажды усадил меня на своего серого иноходца и я три раза объехал на нем вокруг двора, причем никто меня не держал и никто не вел лошадь под

уздцы.

На «Джальму» он не советовал мне, пока, садиться, так как она была чересчур живая, подвижная, и, пока на нее садились, беспокойная; но на сером я ездил каждый раз и, под конец, стал выезжать на нем даже один на улицу.

Побывал я и в гостях у Григория Яковлевича и видел, как он и его татарчонок, ходят за лошадьми.

Конюшня была крошечная и они стояли, большею частью, под небольшим навесом, где яслей вовсе не было, а задавали им овса в шерстяных «крымских торбах», которые надевались им на морды.

Лошади были смирные, ласковые, только Джальма была уж очень любопытна, на всех оглядывалась и ушки ее все время двигались, как живые. Казалось, что это какие-то проворные, с чудной шерсточкой, зверьки, совсем от нее отдельные.

Сам Григорий Яковлевич жил скромно, в двух комнатах; остальная часть квартиры была «заколочена».

Он угощал меня чаем со сладкими пирожками. Демонстрировал и свой знаменитый самовар, что доставляло ему, видимо, удовольствие.

По наружному виду это был обыкновенный самовар средних размеров, который мог поместиться в одну из «торб» вьюка, перекидываемого позади седла. Внутри же он был разделен глухими, луженными перегородками на три неравных части. В одном отделении можно было кипятить воду, молоко, вообще все, что потребуется. В другом варить яйца, зелень и всякую мелочь. Третье же, самое поместительное отделение, предназначалось для варки борща, супа; туда могла войти целая курица. На верхней же конфорке он приспособил небольшую сковородку и умудрялся кое-что на ней жарить, или делать яичницу.

Была у него и особая длинная ложка — «черпак», в форме лодочки с высокими бортиками, чтобы ею извлекать то, что требовалось, из недра этой своеобразной походной кухни.

Но это было еще не все, что я с любопытством разглядывал.

Одна из комнат его вся была завешена уздечками, чепраками, седлами, хлыстиками и фигурными нагайками. Одну из кавказских нагаек, легкую и изящную, он заставил меня от него принять.

На комоде его спальни я обнаружил еще нечто. В деревянном футляре была скрипка и тут только оказалось, что он играет на скрипке и увлекается этим занятием.

Когда я рассказал обо всех этих чудесах дома, мама стала дразнить Григория Яковлевича, уверяя, что ему позавидовал бы сам Робинзон Крузо, которого мы с мамой раньше читали.

Григорий Яковлевич, добродушно посмеиваясь, объявлял, что он просто «цыган» по натуре и вообще человек «кочевой», редко уживающийся на одном месте, и летние месяцы обязательно проводит где-нибудь в горном захолустье.

Очень скоро Григорий Яковлевич совершенно «привился» в нашем доме. Я, разумеется, разболтал о том, что у него есть скрипка, на которой он любит играть. И кончилось тем, что скрипка его появилась и у нас в доме и нередко мама играла на рояле, когда он играл на своей скрипке, которая была «любительская», купленная где-то по случаю, очень приятного тона.

Когда наше знакомство с Григорием Яковлевичем прочно установилось, мама с ним и с mademoiselle Clotilde стала серьезно обсуждать вопрос: готовить ли меня в гимназию и в какой класс?

Гимназия предполагалась своеобразная — «реальная, но с латинским языком», — в расчете на возможность поступления затем в университет на все факультеты, кроме филологического, где обязательно требовался и древнегреческий язык.

Таких гимназий, как я узнал впоследствии, на всю Россию было только две; остальные все были «классические».

После всестороннего обсуждения было решено, что до второго класса я подготовлюсь дома, что будет не трудно, когда съедутся все гимназические учителя. У мамы, и в этом ее очень поддерживала mademoiselle Clotilde, была мечта, чтобы высшее образование я получил в Англии.

Она находила, что весь склад воспитания английской молодежи вырабатывает характер и готовит к жизни.

Григорий Яковлевич не разделял этого мнения, он находил, что сейчас для русского слишком много дела в России и что обособляться чужеземными влияниями не следует. Стать «чужим» для России он считал преступлением.

Англоманство мамы, отчасти, зародилось под влиянием Николая Андреевича Аркаса, который, пожив некоторое время в Англии и усвоив язык, любил подчеркивать преимущество тамошних порядков.

Григорий Яковлевич Денисевич (в обиходе он отбрасывал свое «Тумило») все чаще и чаще оставался у нас после урока к вечернему чаю и, чувствуя себя уютно, вел охотно долгие беседы.

Он был вполне осведомлен относительно хода работ по крестьянской реформе и любил также говорить о предстоящей реформе судебной.

Он говорил, что как только последняя осуществится, он бросит «учительствовать» и перейдет в судебное ведомство, на что дает ему право его лицейский диплом.

Когда речь об этом заходила в присутствии Клотильды Жакото, которая уже отлично понимала по-русски, она всегда предрекала мне: «Nicole, tu sera avocat, tu a une langue bien pendue!»[23]

Но я тогда тяготел совсем к другому.

При моей страстной любви к лошадям и верховой езде я мечтал стать военным и непременно кавалеристом. Но мама разочаровала меня, говоря: «надеюсь, ты поумнеешь и поймешь, насколько нелепо, в наше время, подобное желание.»

Мне бывало больно это слушать, но мамин авторитет был страшно силен в моих глазах.

Мама считалась умной и передовой женщиной; об этом знали все в город, знали также и то, что детей своих она «ведет образцово» и что, ради них, она поставила крест на своей личной жизни.

Об этом нередко напоминала нам и mademoiselle Clotilde, говоря: «eroyez moi bien, que ce n'est pas chaque jour, qu'on trouve une mere pareille!»[24]

Сама она в последнее время как-то перестала вспоминать и не любила говорить о своей семье, т. е., вернее, о своей матери. Лишь сгоряча, после одного полученного ею из дома письма, она с возмущением сказала маме, что ее мать, несмотря на взрослых детей, вторично вышла замуж и что ее избранник даже моложе ее.

Своей матери она почти совсем перестала писать, но сестре и братьям непосредственно стала посылать свои сбережения, чтобы они могли докончить свое образование.

Теперь она более широко могла помогать им, так как, занимаясь с нами только в утренние часы, имела много свободного времени для частных уроков в городе, к чему ее вполне поощряла мама.

Она была неутомима и во всякую погоду с большим зонтиком в руках, всегда пешком, вымаривала десятки верст в течение дня.

Ее приглашали нарасхват, так как ее репутация, как учительницы, стояла очень высоко.

Она даже подумывала о том, не выписать ли свою младшую сестру Луизу, которой нашлось бы, через край, работы в Николаеве.

Глава двадцать вторая

В последнее время — (за год до своей смерти) бабушка стала часто хворать. Она сделалась очень раздражительной и замкнутой. Часто не выходила к обеду и вовсе не появлялась к ужину. Из прислуги никто не имел к ней доступа. Только Фекла и Фиона разносили по дому весть о ее настроениях и самочувствии.

Лечил и навещал ее почти ежедневно «Доминикич», потерпевший аффронт, в качестве оператора, у адмирала Александра Дмитриевича. Вне этой специальности, он считался искусным врачом и имел большую практику в городе.

Кроме страсти «что-нибудь порезать», о чем я уже упоминал, у него была и страсть побалагурить и отпустить иносказательное словечко.

На расспросы мамы относительно бабушкиного здоровья он никогда не отвечал вполне серьезно и просто.

Ответы бывали в таком роде: «без нетерпения ожидаем 78-ой годочек», или «пока крепостные души при нас, — и душа при нас», а не то еще: «при Николае Павловиче жилось полегче».

В сущности, все эти словечки были очень метки, так как все знали, что бабушку совершенно замучили слухи о предстоящей «воле», о которой она слышать не хотела.

На лето «Доминикич» ей предписал полный покой и советовал вовсе не заниматься хозяйством, но она, обозвав его сумасшедшим, пуще прежнего стала наседать на управляющего, чтобы заведенный ею в Кирьяковке порядок ни в чем не нарушался.

С домашними, даже с мамой, она стала холодна, а под час, и раздражительна.

В город к ней стал часто наезжать на своей чалой, раскормленной одиночке ее «стряпчий» Панасеенко, с туго набитым портфелем под мышкой. С лицом, испорченным оспой и с бельмом на одном глазу, он, как-то, неожиданно появлялся и также неожиданно исчезал, не глядя по сторонам и никого не замечая.

Раз мама остановила его на крыльце и поинтересовалась узнать: какие у бабушки завелись дела?

Мама хорошо знала Панасеенко еще с тех пор, как, после смерти отца, ей пришлось «сдавать полк» новому полковому командиру, причем она должна была приплатить довольно значительную сумму. Все переговоры по этому предмету вел тогда Панасеенко.

Он не скрыл, что бабушка все пишет завещания, которые рвет

на другой день. При этом он еще сообщил, что, по предложению «его превосходительства Николая Андреевича» (Аркаса), речь также идет о выкупе им в собственность имения Богдановки, состоящего в пожизненном ее владении.

Главный наследник, сын Петра Григорьевича, живущий в Петербурге, по словам Панасеенко, уже «сошелся с адмиралом». Оставались еще только наследницы в четырнадцатых долях: тетя Соня и наша мама. «С вами, даст Бог, тоже сойдутся»! — закончил он на прощание.

Само собою разумеется, что только впоследствии я понял смысл этой встречи мамы с Панасеенко. Мама, естественно, не посвящала нас в то время в свои деловые отношения и денежные дела.

В лето этого же года Николай Андреевич Аркас со всей своей семьей ожидался на побывку в Николаев.

Мама решила ждать их приезда в городе, чтобы, уже вместе, ехать к бабушке в Кирьяковку.

Мама очень любила тетю Соню; они выросли вместе и, до замужества, не разлучались.

В летах между ними разница была совсем незначительная, тетя Соня всего на год была моложе нашей мамы.

Позднее, из рассказов ее я узнал, как тетя Соня, неожиданно для всех, вышла замуж за Николая Андреевича Аркаса.

Он настойчиво за нею «ухаживал» и несколько раз делал ей предложения, но она каждый раз отказывала ему.

За то она сразу приняла предложение другого, тоже моряка, Ш-ва и свадьба должна была состояться тотчас по возвращении его из заграничного плавания. Но, почти накануне своего возвращения из заграницы, он прислал невесте своей отказ, мотивируя его тем, что чувства его изменились, а в них никто не волен.

Одновременно с этим, не заезжая из Севастополя в Николаев, он спешно перевелся в Балтийский флот.

Оскорбленная в своем самолюбии и в своих чувствах девушка поспешила выйти замуж за своего неизменного претендента, каким был и оставался Николай Андреевич Аркас. В оправдание поступка Ш-ва, которого все, и мама в том числе, считали вполне порядочным и крайне деликатным человеком, она всегда поясняла, что, как она узнала впоследствии от ближайших товарищей Ш-ва, и тут он поступил только благородно. Заграницей он как-то тяжело заболел, должен был предпринять длительное лечение и не счел уже возможным стать мужем горячо любимой им девушки.

Любопытно отметить, что Ш-в занял впоследствии очень

высокое положение в морском ведомстве и очень способствовал служебной карьере Н. А. Аркаса.

Но тетя Соня избегала с ним встреч и никогда о нем не говорила.

Опустевший на лето бабушкин городской дом был уже давно готов для встречи дорогих гостей, когда, наконец, однажды, перед закатом солнца, громоздкий дорожный экипаж, невиданных дотоле в Николаеве размеров, запряженный восемью почтовыми лошадьми, при двух форейторах, кроме кучера, въехал к нам во двор.

Мама и тетя Соня, тут же, на крыльце, замерли друг у друга в объятиях. Обе были взволнованы, на глазах их были слезы.

Затем стала сыпаться, из разных углов вместительного экипажа, детвора разных возрастов.

Младший, Володя, был еще на руках у няни. Старшие два мальчика, Коля и Костя, были запылены, лица их были в причудливых узорах. Соня, бледненькая девочка лет пяти, выглядела одетой по дорожному куколкой.

Все, видимо, были утомлены дальней дорогой. Один Николай Андреевич в белой фуражке и белом кителе, выглядел свежим и бодрым.

Глядя на него, трудно было поверить, что ехали они на почтовых от самой Москвы, почти без передышки.

Возня в доме поднялась большая, пока все не наладилось и не вошло в норму.

С козел спрыгнул бравый денщик Николая Андреевича, матрос гвардейского экипажа, которым, в это время, командовал Аркас.

Вместе с Иваном и другими нашими людьми, он стал снимать огромную вализу, прикрепленную ремнями и винтами по верху крытой части дорожного ковчега, и другие меньших размеров чемоданы и вализы, ютившиеся всюду, и под козлами, и под сидениями, и еще кожаный сундук, привинченный позади, между задними рессорами. И все это где-то умещалось, не считая ручных саков, подушек и пледов, неизвестно откуда еще вынырнувших вдогонку.

Дорожный «ковчег», достойный боле тщательного изучения, не мог поместиться в сарае; его пришлось поставить под арковым навесом широкого проезда, соединявшего оба двора.

Он стоял там, как некое чудовище, привлекая внимание уличных прохожих, когда днем ворота оставались открытыми.

С следующего же дня я, с Колей и Костей, облюбовали «ковчег» и мы часами играли в этой необычайной колымаге «в путешествие».

По настоянию моих спутников, я изображал Николая Андреевича — «папу»; Коля, мягкий и очень добрый по натуре, тетю Соню — «маму», а живой и непоседливый Костя — всех детей вместе взятых, денщика и даже няньку — при надобности.

Все осложнения дальнего путешествия воспроизводились педантически, вплоть до окликов главы семейства на ямщиков, рева маленького Володи, которого должна укачать нянька, и довольно мирных пререканий супругов по поводу того или другого дорожного осложнения.

«Ковчег» состоял из очень вместительной кареты, шестиместного размера, с выдвигавшимися на ночь сидениями для спанья такой ширины, что мы втроем могли лежать свободно на каждом из них и оставалось еще место для четвертого.

Козлы были широкие, обнесенные по сидению высоким кожаным щитом, к которому можно было прислониться задремавшему денщику.

Но самым заманчивым был задний придаток к карете, в виде высокого «кэба», с поднимающимся и опускающимся верхом. Он был выше самой кареты и на него надо было взбираться по трем подножкам; кожаный фартук, когда мы его застегивали, приходился выше Костиного лба, а мне и Коле доходил до половины носа.

В эту колымагу обычно запрягали восьмерик, но в распутицу и в гору приходилось еще припрягать лишнюю пару.

Путешествие от Москвы длилось около двух недель. Когда у Володи бывали нелады с желудком, приходилось делать остановки; в Харькове пришлось просидеть два дня.

Впечатления от этой поездки у Коли и Кости были так живы и жизнерадостны, что я завидовал им, особенно когда заходила речь о том, как они, на перебой, рвались сидеть в «кэбе», а не в духоте кареты.

Кроме тети Сони и Володи, все пересидели в нем, на что была установлена очередь.

Неделю все дети оставались с нами в городе и только тетя Соня с мамой и Николаем Андреевичем, на другой же день, съездили в Кирьяковку к бабушке «на поклон», но скоро возвратились обратно.

Только отдохнув вполне после путешествия, тетя Соня со всей детворой и Николаем Андреевичем и мама с нами отправились в Кирьяковку.

На этот раз там было весело, так как пришлось потесниться и быть всем вместе.

Нам — «мальчикам», отвели на верху «диванную» и мы все трое спали на длинных и узких диванах, полукругом тянувшихся

вдоль закругленной стены.

Кузина Соня, милая, но на вид хрупкая девочка, с большими, точно испуганными или удивленными, глазами, заняла мою спальню, рядом с сестрой Ольгой и mademoiselle Clotilde, которая приняла ее тотчас под свое покровительство, а Володе, с няней, Надежда Павловна уступила свою отдаленную комнату, чтобы его плач или капризы не могли беспокоить бабушку.

Сама она устроилась с нашей мамой, у которой была наверху своя неприкосновенная спальня; Николаю Андреевичу с тетей Соней отвели комнату внизу в апартаментах самой бабушки.

«Парадные» комнаты и наверху и внизу, по заведенному раз порядку, должны были остаться неприкосновенными; благодаря чудной погоде все даже по вечерам оставались на воздухе, располагаясь на террасе, и поэтому они мрачно пустовали.

Из нашей «диванной» удобно было пройти на балкон и мы, иногда уже раздетые, завернувшись в простыни, пробирались туда, продолжая, втихомолку, какую-нибудь затеянную игру.

Утром нас нельзя было добудиться, но это было ничего, так как мы пили чай не с бабушкой, а Надежда Павловна сама приносила нам и чай, и молоко, и разные разности к утреннему чаю прямо в диванную.

Мы ужасно любили это и каждый раз все трое «расцеловывали» за это милую нашу «баловницу» так, что у нее загорались щеки и растрепывались седеющие волосики на висках.

Глава двадцать третья

Из нашего пребывания, на этот раз, в Кирьяковке, у меня очень ярко сохранилось воспоминание о нашей поездке отсюда в Богдановну.

Вероятно, вопрос о приобретении Николаем Андреевичем Богдановки был уже решен окончательно, так как, иначе, ему незачем было бы туда ехать и везти с собою и маму, и тетю Соню.

В Богдановну, по летам в купальный сезон, всегда наезжал, с разрешения бабушки, Аполлон Дмитриевич Кузнецов, с двумя своими мальчиками и младшей дочерью Женей.

А я знал, что отношения семьи Аркас к семье Аполлона Дмитриевича не были дружескими.

Жена Аполлона Дмитриевича со старшей дочерью «кузиной Маней», которая подбиралась уже к своим шестнадцати годам и все хорошела, была в это время заграницей. Грация Петровна в последние годы повадилась ездить в Эмс, очень модный в то время курорт.

Она никогда не уставала говорить об этих своих поездках за границу, а об Эмсе иначе не выражалась, как: «наш Эмс», «у нас в Эмсе» и т. д.

Мама и тетя Соня, именно в эту нашу поездку в Богдановку (мы, мальчики, увязались в эту поездку с ними) много говорили о семье Аполлона Дмитриевича и оживленно вышучивали и его, и Грацию Петровну.

У них выходило, что «прекрасная Грация здорова, как корова», но вечно пилит мужа, уверяя, что без Эмса ей не прожить и года, а тот ей верит, тем более, что ее домашний врач, «не то жид, не то немец», в этом ей подыгрывает. Поездки эти дорого стоят и откуда только у Аполлона Дмитриевича берутся на это деньги, неизвестно. Или он живет в долг в ожидании скорого наследства? И все это только для того, чтобы она могла кичиться в гостиных своею вечною фразой: «когда я была в Эмсе»…..

Я понял, что тетя Соня и мама не любят Грацию Петровну и, не любя ее, дурно отзываются и об Аполлоне Дмитриевиче, задевают и детей, находя их дурно воспитанными, «кривляками».

Меня это огорчало и было неприятно слушать.

Образ очаровательной «кузины Мани» все еще жил в моей душе, да и Тосю (Платона) я уже считал своим приятелем и находил его добрым малым.

Путешествие в Богдановку было значительнее всех обычных поездок, выпадавших до сих пор на мою долю.

От Кирьяковки до Богдановки выходило добрых сорок верст.

Мы ехали с Игнатом на его сборной четверке довольно медленно, так как, хотя мы выехали ранним утром, скоро наступила жара, ехать все время приходилось голою степью, т е. по припеку.

Мама томилась, но тетя Соня блаженствовала, уверяя, что, после «гнилого Петербурга», она рада набраться тепла, чтобы увезти запас его с собою.

Мы, «мальчики», поочередно взбирались на козла, соблюдая строго очередь.

Во время этого путешествия мне впервые пришлось наблюдать «мираж».

Я вскрикнул от восторга, увидев неожиданно у горизонта какой-то причудливый караван всадников, не то на лошадях, не то на верблюдах.

Несколько секунд длилась отчетливая ясность видения. Николай Андреевич объяснил, что такое «мираж» и отчего он бывает; я (да кажется и остальные) не совсем его понял, а мираж, тем временем, также внезапно исчез, как появился.

В херсонских степях, в очень жаркие дни, как я лично убедился впоследствии, явления эти довольно часты.

Кроме этого «миража», кругом не на что было глядеть, все те же ровные поля, засеянные и незасеянные, с пожелтевшей растительностью.

На протяжении всех сорока верст нам попались только два села, представлявших обычную картину местных помещичьих и крестьянских усадеб. Очень мало зелени, стоящий как-то «на тычке» большой, обычно запущенный и пустующий барский дом, широкие улицы, вдоль которых тянутся крестьянские, довольно опрятные мазанки, запыленная босоногая детвора и свиньи с поросятами в непросохших дождевых лужах. Скрашивали картину только ветряные мельницы, со своими лопастыми крыльями, растыканные кое-где по окрестным буграм.

Урожай еще не снимали, а сенокос кончился, и в степи было пусто. По дороге изредка попадались одинокие пешеходы, которые шлепали по мягкой пыли дороги босыми ногами, неся, на палке, за плечами свои сапоги. Встречались необъятно-нагруженные возы с сеном, медленно влекомые парою рослых волов; на самой верхушке обыкновенно возлежал пластом на животе какой-нибудь подросток, погонщик волов, с длинным кнутом, которым он оттуда мог хлестнуть волов, с криком «цоб», или «цобе», чтобы заставить их свернуть вправо, или влево.

Бубенцы позвякивали, пристяжные не скакали, а, поматывая головами, бежали, как и коренные, ровной рысцой. Игнат не неволил лошадей и, больше для вида, потряхивал иногда возжами.

Крестьянскую богдановскую усадьбу мы проехали, когда жара уже стала нестерпимой.

Барская усадьба показалась тотчас же на фоне широкой реки. От этой массы игравшей на солнце воды, как будто, повеяло прохладой.

Подъехав ближе, стало ясно, что река отстоит дальше обширного двора, обнесенного кругом высокою стеной, из-за которой едва виднелись черепичный крыши разных построек, в том числе и господского дома.

Двор тянулся от ворот к дому, казалось, без конца и имел вид огороженной пустыни.

По этой пустыне ездил на осле Тося, причем беспощадно хлестал его толстой казацкой нагайкой. За ним бегал Саша и, хныча, просил, чтобы Тося слез и дал ему покататься, но тот не обращал на него внимания.

Увидав такую картину, мама приказала Игнату остановиться и накинулась на Тосю. Она стала стыдить его за то, что он смеет мучить ослицу, приказала ему тут же слезть и распорядилась через Игната, чтобы ослицу отправили в табун и не смели больше давать «паничам» для катания.

Имела ли право мама так распорядиться — я не знал, но Тося покорно слез и стал жалобно оправдываться, что ослица уж очень упряма и не хотела вовсе бежать.

Тут мама пояснила, что это и есть ослица, которая поила меня своим молоком и которая теперь уже стара и должна быть на покое.

У крыльца одноэтажного, приземистого дома нас встретил, одетый по летнему щегольски, в чечунчовый костюм, Аполлон Дмитриевич и со всеми нами радушно перецеловался.

Николай Андреевич, почти с места, забрав нас (т. е. всех «мальчиков», так как и Тося и Саша тотчас же примкнули к нашей компании), повел нас на реку купаться.

Здесь Буг еще шире разливается, нежели у Кирьяковки. На противуположном берегу село «Рыбацкое» (бывшее военное поселение) едва можно было разглядеть; у этого берега виднелось несколько парусов рыбачьих лодок.

До реки от дома, по едва заметному спуску к низу, надо было пройти шагов двести. Берег был песчаный, дно совершенно гладкое, мягкое, точно бархатное, По словам Николая Андреевича, этот открытый, дивный, сплошь песчаный берег не уступал любому хорошему морскому «пляжу».

Купаться здесь было большим наслаждением и мы барахтались бы в воде без конца, если бы не стеснялись ослушаться Николая Андреевича, у которого в голосе, не смотря

на его тягучую мягкость, было что-то властное, не поощряющее к возражениям.

Я заметил, что Коля и Костя побаивались и сразу слушались его, тогда как с тетей Соней они своевольничали и делали решительно все, что хотели.

Когда мы вернулись к обеду в дом, в длинной и узкой столовой застали Женю, которую ее старая бонна — немка разрядила, точно на бал, в белое кружевное платьице, с розовой лентой по поясу.

Девочка очень выровнялась с тех пор, как я ее видел в последний раз. Она не была такой красивой как Маня, но была необыкновенно жива, грациозна и очень кокетлива.

Ей совсем не сиделось на месте, она беспрестанно оправляла свои распущенные светлые волосы и делала решительно все, чтобы привлекать к себе внимание.

Мама и тетя Соня звали ее, про себя, «ученой обезьянкой». Я соглашался, что в ней было немного «обезьянки», но прехорошенькой.

С нами, «мальчиками», она не дружила и относилась к нам, как бы, свысока.

Раньше чем сесть за стол, Николай Андреевич предложил Коле прочесть предобеденную молитву и все, стоя, крестились, а когда, после обеда, вставали от стола, Костя прочел «благодарственную».

Я боялся, чтобы Николай Андреевич не вздумал предложить мне читать которую-нибудь из молитв, я их не знал.

Дома мы этого не делали, а только крестились перед тем, как садились за стол и после, когда вставали из-за стола.

После обеда Николай Андреевич вызвал к себе управляющего, седоватого хлопотуна, с которым долго рассматривал какие-то большие книги, который тот принес с собою в кабинет, где расположился Николай Андреевич.

До ужина, пока совсем не смерклось, мы (мальчики) наслаждались полною свободой, не раз побывали в конюшне, где стояло много лошадей, затевали всевозможный игры, бесились ужасно.

Когда стала спадать жара, на реку пригнали весь табун на водопой.

Тут уж мы наслаждались.

Лошадей было много и среди них не мало сосунков и жеребят. Эти были особенно забавны: они то и дело поддавали на ходу задними ногами и, ступая своими длинными, тонкими ножками по воде, пугались брызг, который разлетались во все стороны от их нескладных, торопливых движений.

Старые лошади заходили в воду по брюхо и меланхолически — однообразно кивали головами.

Среди стаи кобыл и коней выделялся, величественно выступая, рослый гнидой, с черными хвостом и гривой, жеребец «Натужный».

В хвосте табуна плелась, на безобразно отросших копытах, и моя «мамка-ослица». Помахавши своим куцым хвостиком, она не вошла в воду, а, упершись мордой в мокрый песок, тут же улеглась на берегу и стала качаться, перекидываясь через спину.

От табунщика мы узнали, что среди коней есть много смирных, уже объезженных, ходящих и под верх, и нам крепко запало в голову этим воспользоваться.

Когда управляющий возвращался, со своими толстыми книгами под мышкой, от Николая Андреевича в свой флигель, где была контора, мы ласково пристали к нему и он обещал на завтра дать нам лошадь, заседланную казачьим седлом.

После ужина Николай Андреевич сел с Аполлоном Дмитриевичем за карточный стол на открытой галерее и они стали играть в какую-то игру вдвоем, а мама и тетя Соня, обнявшись, стали ходить взад и вперед по аллее небольшого, запущенного садика, тянувшегося вдоль бокового фасада довольно низкого, расползавшегося в длину и в ширину дома.

Мы, «мальчики», опять кинулись на широкий двор и затеяли шумную игру «в разбойники»; а Женя уселась, со своею немкою, чинно на скамье крыльца, выходившего во двор и, как мне казалось, пренебрежительно на нас поглядывала.

Ложиться спать было очень весело.

Мы «выпросились» спать всем вместе (кроме Саши, который был еще малыш), и нас уложили, всех четырех, в очень большой, с низким потолком, комнате, где не было почти никакой мебели и где нам постлали, прямо на полу, свежие сфабрикованные огромные сонники.

Мы решили спать с открытым окном, которое выходило в сторону реки.

Было тепло, тихо и уютно. Видны были звезды на совершенно черном небе. Никогда не спалось мне так легко и сладко, как в эту летнюю деревенскую ночь.

Николай Андреевич на другой день, с раннего утра, уехал с управляющим, в его шарабане осматривать богдановскую межу и вернулся только к обеду.

После обеда он вскоре опять уехал куда-то, что-то «осматривать и проверять».

Мы были на полной свободе.

Управляющий не забыл своего обещания и нам Игнат выбрал,

по своему вкусу, из табуна рослую, головастую лошадь, которую сам заседлал казачьим седлом.

Когда мы, поочередно, при помощи того же Игната, взбирались на нее, то мама, которая с тетей Соней уселась на крыльце, чтобы насладиться этим зрелищем, говорила, что мы «совсем воробьи на крыше». Обе они были очень довольны, видя, как лошадь, осторожно и бережно, не хотела нас иначе возить, как легкой «ходой с перевальцем», что было, все таки, пошибче, чем шагом.

Нам и это казалось уже кое чем и мы не прочь были считать себя кавалеристами.

Мы пробыли в общем три дня в Богдановке. Николай Андреевич почти все время где-то пропадал, осматривая с управляющим в подробностях все имение.

Он сделал также визит соседнему помещику, престарелому адмиралу Манганари, которого знал и раньше. От него он вывез большой круг какого-то сыра, которым очень гордился хозяйственный адмирал, так как он завел у себя сыроварню и лично наблюдал за изготовлением своего «голландского сыра». Когда его взрезали и тетя Соня и мама, по настоятельному предложению Николая Андреевича, попытались его попробовать, они тотчас же приказали вынести этот сыр вон из столовой, до того запах его был невыносим.

Кроме своего купанья, Богдановна славилась еще своим плодовым садом, который был не при доме, а отстоял от усадьбы верстах в трех.

Урожай сада ежегодно, еще с весны, запродавался купцам, но домашним не возбранялось приезжать и есть на месте сколько угодно фруктов.

Мы всей компанией, в двух экипажах, раз съездили туда и лакомились фруктами, срываемыми с деревьев. Тут были: абрикосы, персики, сливы, груши, яблоки, крыжовник и смородина.

Обойти весь сад было не легко, он протянулся по узкой, но длинной, ложбине более чем на версту. Его сторожили наемные люди, поставленные от покупщиков урожая; они же исполняли все садовые работы.

В саду было три глубоких колодца, из которых черпали и проводили по всему саду воду канавками и желобами.

Вода черпалась особыми «черпаками», закрепленными на цепях, двигавшимися вверх и вниз при помощи особого колеса, которое, в свою очередь, приводилось в движение другим горизонтальным колесом, вертевшимся на стержне, к которому было приделано длинное дышло. К этому дышлу была

припряжена лошадь, у которой были повязаны глаза и которая безостановочно ходила по кругу. Этих лошадей никто не понукал; втянувшись в эту скучную работу, он двигались точно заведенные автоматы.

Старший из рабочих, которого все называли садовником, при нашем отъезде поставил в наши экипажи несколько корзин отборных фруктов.

Николай Андреевич подробно его расспрашивал относительно доходности сада и нашел, что, благодаря «купцам», сад в лучшем состоянии, чем все остальное запущенное хозяйство именья.

В Кирьяковку мы вернулись тою же дорогой, какою ехали. Выехали в ожидании новой луны попозднее, чтобы избежать жары, благодаря чему ехали гораздо шибче и были дома, когда еще никто у бабушки не ложился спать.

Глава двадцать четвертая

В Кирьяковке мы оставались до тех пор, пока Аркасы не стали собираться в обратный путь.

У Николая Андреевича близился к концу отпуск и, до наступления осени, надо было добраться до Петербурга, пока стояла хорошая погода и не размыло осеннею слякотью дороги. По словам Николая Андреевича, в своем «ковчеге» они неминуемо застряли бы где-нибудь в невылазной грязи, если бы двинулись в путь позднее.

Я очень сдружился за это время с Колей и Костей, которыми командовал и распоряжался, как хотел, так как они были очень покладисты и охотно присоединялись ко всем моим затеям.

За неделю до их отъезда мы все переехали в город; вализы стали укладываться, дорожный экипаж мылся, чистился и приводился в должный порядок.

Нам, «мальчикам», в городе было еще веселее, нежели в деревне. За хлопотами предстоящего отъезда на нас никто не обращал внимания, мы никого не могли здесь беспокоить и нас с трудом залучали в комнаты только к обеду и к ужину.

Николай Андреевич по целым дням не бывал дома, делая визиты и принимая некоторые обязательный приглашения. По вечерам, когда он бывал дома, он с дядей Всеволодом играл на садовой террасе при свете свечей в стеклянных колпаках в домино.

Тетя Соня никуда не ездила, отговариваясь нездоровьем, и была неразлучна с мамой. Она грустила при одной мысли о возвращении в Петербург, к которому питала какую-то органическую ненависть. По вечерам, тихо беседуя с мамой, у нее, нередко, навертывались на глаза слезы.

Тетя Соня, моложе мамы, а выглядела старше ее, седина уже заметно пробивалась на гладко причесанных ее волосах. У нее было милое, но мало подвижное, как бы застывшее в одном и том же выражении, лицо.

Глядя на нее, можно было подумать, что у нее нет ни своих желаний, ни своих капризов.

Мама иногда, бывало, вспылит, раздражиться; случалось, что она очень энергично кого-нибудь «отчитает», если найдет чей-нибудь поступок нехорошим; резко останавливала и сестру и меня, когда ей не нравилось наше поведение, — а тетя Соня была как-то всегда вне подобных настроений, как будто ее ничто не трогало и не интересовало. То, что творилось вокруг, как бы проходило мимо нее, хотя при этом она не выглядела ни

задумчивой, ни рассеянной.

Трудно было не заметить, что Николай Андреевич проявлял к ней на каждом шагу, и по малейшему поводу, какую-то, как бы влюбленную, заботливость. Он даже нередко ласкал и целовал ее на глазах у всех, что, по-видимому, не трогало и не беспокоило ее.

Когда мальчики ее не слушали, она только, иногда, однотонно говорила: «вот, я скажу Николаю Андреевичу», но никогда не говорила и покрывала все их шалости.

Я никогда не слышал, чтобы она звала Николая Андреевича каким-нибудь уменьшительным именем, или называла его мужем. Даже когда она говорила о нем детям, она не говорила: «вот я скажу отцу», а всегда — «Николаю Андреевичу».

Когда мы с Колей и Костей играли «в папу и маму», я всегда был «Николай Андреевич», а не «папа», Коля же был просто «мама», а не «Софья Петровна». Костя, в лице которого были все дети, так это и разумел.

К чувству задушевной и нежной привязанности к тете Соне у меня бессознательно примешивалось что-то похожее на жалость. За что и почему надо было жалеть ее, я не мог отдать себе тогда отчета, но, я положительно утверждаю, что это чувство по отношению к ней, нашедшее, — увы! впоследствии, в далеком будущем, вполне логическое основание, предшествовало малейшему к тому фактическому поводу.

Жизнь ее, казалось, складывалась так счастливо, как можно было только желать: счастливая семья, боготворящий ее муж, положение, богатство.

Я не раз слышал из уст моих взрослых кузин восклицания: «вот кому можно позавидовать, счастливая тетя Соня! Только она не умеет пользоваться, вот если бы на ее месте была тетя Люба (т. е. наша мама)!»

Николай Андреевич бодрил грусть расставания увериями, что теперь уже не надолго.

Он твердо верил, что через несколько лет он совсем перекочует в Николаев, чтобы быть поближе к приобретаемой им окончательно «Богдановке» и «к своим», и больше уже никуда не двинется.

Все в доме знали, что заветной мечтой Николая Андреевича Аркаса было стать главным командиром Черноморского флота и военным губернатором города Николаева, города, где он родился в очень скромных условиях и где хотел умереть, достигнув возможной высоты, на виду у всех.

Мечте этой суждено было осуществиться, конечно с подправками и оговорками, какие судьба любить вплетать, в виде

терниев, в наши самые сокровенный замыслы.

Провожать отъезжающих мы все поехали «за мост».

И дядя Всеволод и Аполлон Дмитриевич, с Тосей, приехавшие для этого нарочно из Богдановки, были с нами.

Переехав мост, остановили лошадей, вышли из экипажей и началось прощание.

Тетя Соня с мамою долго стояли обнявшись и обе плакали.

Тося и я завидовали мальчикам, которые с места забрались в «кэб», откуда было так все хорошо видно кругом и откуда мы, играя, не раз отстреливались мячами от воображаемых разбойников.

Николай Андреевич торопил отъезд и почти на руках внес тетю Соню в карету.

Ямщик свистнул форейторам; восьмерик вытянулся и громоздкий экипаж двинулся.

Большое облако пыли встало между нами и отъезжавшими.

Глава двадцать пятая

Переехав из Кирьяковки в город, всю осень и зиму хворала бабушка.

Временами она бывала еще на ногах, но к весне окончательно слегла и больше уже не вставала. Говорили, что у нее «водянка»; по временам она распухала и ей делали проколы, чтобы выпустить воду.

Нас, иногда, водили к ней.

Лицом она очень исхудала и большой вытянувшийся нос и седые жидкие волосики на запрокинутой на подушках голове, только и видны были из под белой покрывавшей ее простыни.

В начале болезни она еще гладила наши головы своею слабою, исхудавшею до прозрачности, рукой, а потом, бывало, только откроет глаза, поглядит ни строго, ни ласково, точно не видит нас, и опять закроет их.

За день до ее кончины нас опять привели в ее спальню, но к постели уже не подводили. Сестра еще продвинулась вперед, чтобы поглядеть поближе на нее, я же остановился упрямо у косяка двери и дальше не двинулся.

У постели умирающей были и мама, и старая тетя Лиза с дочерьми, и дядя Всеволод, и Аполлон Дмитриевич, прискакавший из Херсона.

Надежда Павловна, которая была тут же, от времени до времени еще оправляла подушки бабушкиной постели.

Бабушка лежала навзничь; белая простыня как-то плоско опала на ней, казалось, что под простыней тела ее уже не было; какие-то звуки, как свистящие вздохи, шумно вырывались из ее открытого рта.

Были ли открыты, или закрыты ее глаза, я не разглядел. Помню только темные пятна на месте глаз.

Мне да и сестре стало жутко и mademoiselle Clotilde поспешила нас увести.

Ночью мама осталась при бабушке и не возвращалась в свою спальню.

Я трусил оставаться один рядом с пустовавшей комнатой и mademoiselle Clotilde устроила меня на диванчике в своей комнате, где спала с сестрой.

Я долго не мог уснуть и все к чему-то прислушивался: мне чудилось не то легкое шуршание шагов, не то едва слышное постукивание чьей-то руки в оконное наружное стекло за запертой плотно ставней.

При этом, по временам, я слышал протяжный вой цепного

«Караима» на заднем дворе, отчетливо доносимый порывами ветра.

Утром пришла мама с опухшими глазами и сказала, что бабушка, под утро, скончалась.

Перед смертью она очень мучилась, хотя уже не приходила в сознание.

Уроки наши отменили.

Мама оделась в глубокий траур. Надежда Павловна тоже. У сестры появилось черное платьице с белыми «горошинками». Mademoiselle Clotilde и всегда ходила в темном, а тут надела черную юбку и белую блузу, отороченную черными ленточками. Я тоже настаивал, чтобы меня обрядили по траурному и, как у дяди Всевы, нашили черную повязку на рукаве новой курточки.

Когда нас в первый раз привели к столу умершей в пустынную залу с завешенными простынями зеркалами, первый, кого я увидел, был дядя Всеволод.

Он стоял на коленях и горячо молился, глаза его были полны слез.

После, когда он проговорился мне о том, как бабушка собственноручно секла его в детстве, я часто вспоминал его набожно молящимся и плачущим у ее похолодевшего тела. Как он должен был плакать и страдать, когда в моем возрасте терпел от нее тяжкие муки!. И он, как никто, оплакивал ее кончину.

Время до бабушкиных похорон тянулось для меня как-то нескончаемо долго и томительно. Я почти не видел мамы, не мог ни играть, ни бегать по саду.

Казалось, что какие-то невидимые призраки завладели домом и неуловимо шныряют среди живых людей.

Я все чего-то боялся. По ночам вой «Караима» положительно не давал мне покоя.

Как-то днем улучил я минуту, чтобы, все-таки, пройти в конюшню, и увидел Николая, присевшего на корточках около его будки. Он снимал с «Караима» ошейник, на котором висела тяжелая цепь.

Несчастный пес лежал смирно, распростертый на одном боку, с отвалившимися назад задними лапами. Жалкими, слезящимися глазами он внимательно следил за движениями рук Николая.

Наконец, ошейник был снят, цепь, отброшенная в сторону, с лязгом звякнула.

Оказалось, что именно в последнюю ночь, когда особенно жалобно выл «Караим», его разбил паралич, у него совершенно отнялись задние лапы, они отказывались держать его.

Передние были в порядке и, еще лежа на боку, он довольно энергично пробовал двигать ими.

Николай мне сказал, что это у него «от старости», что придется завести для конюшни новую цепную, а что «Караима», впредь до распоряжения, он берёт к себе в сенцы, в тепло, «может и отлежится».

Несмотря на то, что в доме стала царить большая суматоха, так как по два раза в день наезжали священники, приходили певчие и съезжалось много народа на каждую панихиду, я, все-таки, успел шепнуть Надежде Павловне про несчастье, случившееся с Караимом.

Она живо приняла к сердцу это известие и сказала, что забежит к Николаю и отдаст распоряжение, чтобы Марина поила Караима молоком и вообще имела за ним уход. На все панихиды по бабушке я и сестра являлись аккуратно, но там было тесно и душно и mademoiselle Clotilde уводила нас в сад, куда была слышна служба и пение певчих.

Мама все время оставалась в большом доме и была очень озабочена.

Бабушка лежала уже в гробу, укрытая золотой парчой, когда дядя Всеволод приподнял меня под руки, чтобы я мог «проститься» с бабушкой т. е. поцеловать ее крошечную, слегка уже посиневшую и, как лед холодную, руку.

Во время похорон мы ехали с mademoiselle Clotilde в маминой карете. Все время то играла музыка, то пели певчие. За гробом шло много народа, позади нашей кареты вытянулась длинная линия всевозможных экипажей. Впереди высокого катафалка несли хоругви и шло духовенство, кажется, со всех церквей, а по бокам ехали конные жандармы.

Я заметил Григория Яковлевича Денисевича, который шел как-то в стороне, но на кладбище подошел к маме, что-то ей сказал и поцеловал ей руку.

Среди провожавших, шедших за гробом, сейчас позади мамы, дяди Всеволода, Надежды Павловны и Аполлона Дмитриевича, нельзя было не заметить неожиданного сочетания, очень меня обеспокоившего.

Шел наш доктор Миштольд («Доминикич») бок о бок с адмиралом Александром Дмитриевичем и последний, шедший всю дорогу без шапки, пешком, не моргнул на него даже глазом, ни на шаг от него не отстраняясь.

Кладбище и дорога к нему мне понравились.

Раньше я не бывал в этих краях.

Пришлось проезжать широчайшими улицами дальней слободки, где из каждого домика высыпала масса детворы. Домики, словно деревенские, чистенькие, уютные, с акациями в палисадниках.

В этой пригородной части в большинстве жили рабочие адмиралтейства, которые, по словам дяди Всеволода, жили зажиточно.

Кладбище, которое я видел в первый раз, мне не показалось страшным, хотя я знал, что там лежать мертвецы. Там было много зелени и открывался далекий, живописный вид на реку. Мраморные памятники, кресты и плиты были либо убраны цветами, либо обросли зеленеющей травкой.

Бабушку похоронили за чугунной оградой, рядом с памятником над могилой дедушки Петра Григорьевича Богдановича. Неподалеку, в той же ограде, был и памятник над могилой первого бабушкиного мужа, Дмитрия Петровича Кузнецова.

В той же ограде был памятник спящего ребенка; под ним была надпись золотыми буквами «младенец Софья Карабчевская» и дата рождения и смерти.

Только этот памятник и эта надпись, почему-то, вызвали во мне странную тревогу, что-то вроде страха за самого себя: неужели вот так могу лежать и я где-то под землей и будет надо мной такой же тяжелый, не по моим силам, холодный памятник!

Только надпись будет другая…..

Мы вернулись с кладбища с mademoiselle Clotilde раньше других и нам подали обед у нас в столовой. Я проголодался и хотелось есть, но все-таки елось как-то неохотно.

Остальные наши возвратились позднее, со всеми родственниками, бывшими на похоронах. Их обед длился долго в «большом доме», откуда утром вынесли бабушку.

Когда кончился этот обед и приглашенные стали разъезжаться, Надежда Павловна сама принесла нам кутью и сказала, что этого надо сесть по ложечке, «за упокой бабушкиной души».

К вечеру вернулась мама, утомленная и расстроенная; с нею зашел к нам и дядя Всеволод и просидел у нас весь вечер.

Из разговора его с мамой я узнал, что скоро он будет жить, с Нелли и Марфой Мартемьяновной, тут, где мы до сих пор жили, а мама с нами переберется в большой т. е. бабушкин дом.

Я очень любил дядю Всеволода и, заранее, с восторгом, смаковал в своем воображении подобную комбинацию.

Глава двадцать шестая

Вскоре все так и устроилось.

Мы заняли весь большой бабушкин дом и Надежда Павловна осталась с нами, в прежней своей комнате.

Дядя Всеволод переселился в бывшее наше жилое помещение, приказав заколотить парадный вход и запереть зало и столовую, которые оказались для него лишними.

Нелли, когда была здорова (а к этому времени она очень окрепла), всегда была у нас и дядя Всеволод и она обедали и ужинали с нами в большом доме.

Надежда Павловна очень грустила по бабушке и я часто заставал ее, в ее комнате, тихонько плачущей.

Впрочем, кроме смерти бабушки, было еще одно обстоятельство, которое, очевидно, ее расстроило и надолго огорчило.

У нее был единственный брат, офицер какого-то армейского пехотного полка, немногим моложе ее, которого она не видела многие годы, так как полк его стоял на Кавказе.

Вскоре после смерти бабушки он «упал ей, как снег на голову», очутившись совершенно неожиданно в Николаеве, добившись перевода в расположенный здесь на многие годы полк.

Вначале встреча брата и сестры была радостная; мама также приветливо встретила его и гостеприимно отвела ему две комнаты в отдаленном флигельке, примыкавшем к службам.

Тут он и поместился со своим денщиком, польским уроженцем, Войтиком (так, по крайней мере, кликал его «пан поручик»).

Вскоре, однако, брат нашей милейшей, очаровательной по своей доброте Надежды Павловны, Константин Павлович Кирьязи, оказался вполне нетерпимым жильцом в нашем доме.

Прежде всего, обнаружилось, что он пьет много водки и каждый вечер бывает пьян. Мама перестала его приглашать к столу и Войтик носил ему обед и ужин прямо из кухни.

Потом, вообразив почему-то, что бабушка должна была завещать Надежде Павловне золотые горы, он беспрестанно, иногда грубо и настойчиво, приставал к сестре с требованиями денег. Та давала ему, сколько могла, но он быстро проматывал их и приставал заново.

Но самое важное, что решило его участь, было грубое, подчас даже жестокое, его обращение со своим безответным денщиком.

Я сам видел, как раз он поддал ему сапогом в зубы, когда тот наклонился, чтобы с него, пьяного, стащить сапоги. У бедного

Войтика полилась кровь из рассеченной губы. Видел я также, как наказанный Войтик должен был «во всей амуниции» с ружьем и ранцем, до верху набитым мокрым песком, «стоять смирно», по приказанию своего мучителя, под палящим солнцем в течение двух часов.

Этого я уже не выдержал и побежал сообщить об этом маме. Узнала она и от других в доме о всех его безобразных выходках.

Степень возмущения мамы не имела пределов. Бледная, дрожащая, она, казалось, готова была собственноручно расправиться с ним.

Все тут было: и упреки, и резкие слова, и угрозы. Она приказала немедленно освободить Войтика из под ранца и, ссылаясь на свое знакомство с полковым командиром, обещала совершенно опешившему воину освободить несчастного денщика из рук его мучителя.

Поручик, хотя и был в эту минуту не совсем трезв, сразу отрезвел. Он жалобно начал оправдываться, его стало трясти, как в лихорадке. Мама не унималась и резко вычитывала ему, говоря, что своим поведением он позорит всю русскую армию и недостоин носить офицерские погоны.

Как это потом вышло в точности-не знаю, только вскоре Константин Кирьязи попал в госпиталь, а затем получил где-то какое-то место по интендантству и навсегда исчез из Николаева.

Несколько лет спустя, помнится, Надежда Павловна носила по нем траур. По догадкам мамы, его сгубила водка.

Мама, после смерти бабушки, нередко бывала расстроена. Это случалось с ней каждый раз, когда к ней приезжал Тонасеенко, которому было поручено дело о бабушкином наследстве.

Матерьяльное положение мамы оказалось наименее обеспеченным, так как Богдановка оказалась уже проданной Н. А. Аркасу, с выплатою маме довольно незначительной суммы. Крюковка досталась роду Кузнецовых, а Кирьяковка перешла по наследству двум сыновьям покойной — дяде Всеволоду и Аполлону Дмитриевичу, с выплатою маме и тете Соне их четырнадцатых частей. Городской дом, в котором умерла бабушка, оказался принадлежащим маме уже по дарственной покойного деда, Григория Петровича Богдановича.

Кроме того дядя Всеволод не раз говорил маме, что покойная на словах ему всегда «приказывала» быть защитником и покровителем ее и ее семьи, так как она остается «без мужчины в доме».

Был ли такой предсмертный наказ ему от бабушки, — не знаю, знаю только, что дядя Всеволод, не за страх, а за совесть,

всегда был предан интересам нашей мамы и сестры и меня любил и баловал не менее собственной Нелли.

Я лично, в особенности, всеми радостями моей юности почти всецело обязан ему.

В первые месяцы по смерти бабушки, кроме черного цвета, в который в доме все были одеты, печальное настроение еще больше оттенялось видом несчастного «бывшего цепного» Караима, судьбою которого до конца его дней были озабочены и мама и Надежда Павловна.

Караим, чуть-чуть оправившийся, бродил на свободе на двух своих передних, пока еще крепких, лапах, старательно волоча за собою задние и свой пушистый хвост.

Он повадился и особенно любил тащиться по прямой и гладкой садовой дорожке к крыльцу, куда выходила комната Надежды Павловны, оставляя за собою, точно от метлы, след на песке.

Раз добравшись сюда, он, обыкновенно, клал свою пеструю, обмохнатившуюся морду на край крыльца, словно на подушку и, распластавшись неподвижно — только глазами поводил в сторону окна, где нередко показывалась Надежда Павловна.

И так лежал он часами смирнехонько, кротко провожая глазами каждого проходящего мимо него, посылающего ему то или другое приветствие. А когда к нему подходила Надежда Павловна и ласкала его голову, он, насколько мог, еще вытягивал свою морду вперед и плотно прижимался ею к своей каменной подушке, точно замирая от неслыханного блаженства.

Неподвижная радость застывала в его слезящихся глазах.

Никто бы не узнал в нем тогда свирепого пса, всю свою долгую жизнь злобно метавшегося на железной цепи.

Протянул он еще довольно долго.

Потом, как-то весь опух и шерсть на нем защетинилась.

Последний свой вздох он испустил тут же, у крыльца, помутившимися глазами, устремленными на Надежду Павловну.

Вечером Николай принес сколоченный им деревянный ящик, Караима положили туда и похоронили в конце сада, где вырыли глубокую яму.

Я, с Надеждой Павловной, были при этом; да и мама подошла, когда его уже зарывали.

А на заднем дворе в это время метался, бегая по блоку и лязгая цепью, новый «цепной» молодой пес, сменивший Караима, и неистово лаял звонким, нетерпеливым лаем.

Глава двадцать седьмая

Бабушка умерла вовремя.

Она, все равно, не пережила бы, момента когда окончательно вырешился вопрос об отмене крепостного права.

А это последовало вскоре. Сперва о бывших дворовых, а сейчас же и о крепостных деревенских людях.

В именья стали наезжать мировые посредники; и у нас был знакомый мировой посредник, бывший моряк, с длинными, опущенными вниз, рыжими усами, который должен был ездить в Кирьяковку. Он часто о чем-то совещался с дядею Всеволодом, иногда в присутствии мамы.

По словам Григория Яковлевича Денисевича, с которым наши занятая возобновились, «по части освобождения» все шло гладко и мирно и никаких бунтов и пожаров, которых так боялась покойная бабушка, не случилось.

Относительно же наших дворовых людей почти никакой перемены заметно не было.

Николай с Мариной остались служить по-прежнему, повар Василий с женою Авдотьей тоже, Матреша выросла и расцвела, но осталась на прежней должности горничной; даже долговязый, с плоским носом, дворник Степан продолжал все также ездить каждое утро «по воду» в Спасск на волах, со своею сорокаведерной бочкой.

Много лет спустя, беседуя с мамой об этом времени, я интересовался знать, на каких же условиях согласились по-прежнему служить эти, тогда уже «вольные», люди.

Мама, смеясь, сказала мне: «ты не поверишь. Сами просили не гнать их, а оставить на прежних условиях, т. е. на всем готовом, включая одежду и несколько рублей в месяц, мужчинам-„на табак“, а женщинам-„на чай и сахар“. Николай с Мариной, Василий с Авдотьей получали от меня по пяти рублей в месяц, правда, уже серебром, а не ассигнациями. И все в таком роде».

Степана (Степку-словесника) пришлось очень скоро, однако же, отпустить за дерзко проявленное озорство.

Адмирал Александр Дмитриевич и после смерти бабушки оставался жить по-прежнему в своем флигеле. Только он уже ни за что не хотел жить «даром», а просил назначить ему цену за квартиру. Мама предоставила ему самому определить ее размер. И вот он, число в число, каждое двадцатое месяца аккуратно стал приносить маме беленький конвертик, с всегда новенькими в нем трехрублевыми бумажками. Их было всегда две, таким образом цена определилась в шесть рублей в месяц. Он не оставлял

привычки вести свои расчеты на ассигнации и, платя серебром, разумеется, считал плату подходящей.

Так вот, именно у него-то и вышло грандиозное столкновение с озорником Степкой.

Его, почему-то, всегда терпеть не мог адмирал Александр Дмитриевич, хотя тот, пока был крепостным и пока жива была бабушка, боялся адмирала, как огня, и старался вовсе не попадаться ему на глаза.

Накопилась ли у «Степки» затаенная злоба против адмирала, или, просто, злая муха его укусила, но, едва став вольным, он не только перестал с адмиралом считаться и здороваться при встречах, но пронося мимо «адмиральского» флигеля, по его крылечку, блюда с кушаньями, или грязную посуду, шел под самыми его окнами, мурлыча притом еще, как бы про себя, песню.

У Александра Дмитриевича, как уже было отмечено, была своего рода спортивная страсть, — беспощадное избиение мух. Он не терпел у себя ни одной мухи в комнатах. Даже в разгаре лета они миновали его апартаменты и, если какая-нибудь шальная туда случайно залетала, она немедленно предавалась казни.

В видах вящего охранения своего жилища от мух, адмирал не терпел, чтобы из кухни «шныряли» с блюдами и провизией мимо его окон.

Этот приказ строго соблюдался всей дворней. Флигель адмирала приходился попутно, но его тщательно обходили, делая для этого значительный крюк.

Степан и начал донимать теперь «его превосходительство» тем, что проходил с блюдами и посудой под самыми его окнами, когда они бывали распахнуты настежь.

Долго крепился адмирал, делая вид, что не замечает Степкиных козней, но однажды не выдержал, выскочил на крыльцо с толстою палкой в руках и, со всего маха, пустил ее в ноги озорника.

Степан выронил из рук посуду, хотел поднять палку, но адмирал во время подоспел и, ударом кулака по загривку, отшвырнул его в сторону. Видя, что дело плохо, так как палка вновь очутилась в руках адмирала, Степан пустился в утек, а адмирал ринулся за ним.

Я сам видел всю эту сцену и дивился только, откуда у Александра Дмитриевича набралось столько прыти.

Степан кинулся на задний двор, — адмирал за ним.

Спасаясь от преследования, Степан кинулся к отлогой наружной лестнице, ведущей на сновал.

Тут адмиралу удалось было ухватить беглеца за штанину,

часть которой осталась, в виде победного трофея, в его руках, но сам Степка достиг все-таки вершины лестницы, на которую не решился устремиться адмирал, и скрылся в глубине сновала.

Видимо удовлетворенный позорным бегством врага, адмирал, весь малиновый, запыхавшийся, проследовал к себе обратно.

Степка, однако, не унялся: у него, видимо, тоже «сердце разгорелось».

Держа в руках кусок своей оборванной штанины, он снова появился во дворе и, на почтительном расстоянии от адмиральских окон, стал демонстративно потрясать в воздухе люстриновой тряпицей и требовать возмещения убытка.

Бог знает, чем бы кончилась вся эта трагикомедия, если бы ей не положила конец мама, которая, узнав о происшедшем, тотчас же властно уняла расходившегося Степана.

Призвав его в комнаты, она долго стыдила его, сказала, что он получить новые штаны, но что держать его долее у себя она не желает.

Степан очень расстроился, пытался целовать маме руку и просил простить его, а когда она, все-таки, не согласилась оставить его, просил рекомендовать его в Морское Собрание, где, по его словам, очищалось место.

Мама пообещала.

И, действительно, когда в то же лето мы, с дядей Всеволодом, после купанья в Спасской купальне, заходили в летнее помещение Морского Собрания напиться чаю, Степан уже прислуживал нам, одетый в тужурку с медными пуговицами, как одевалась прислуга Собрания.

Каждый раз он наказывал мне поцеловать за него «маменьке ручку».

С Иваном вышло иначе.

Едва успели похоронить бабушку, как он, просто, исчез, неизвестно куда девался, точно «в воду канул».

Гадали всяко: он был хороший пловец и ходил купаться на Ингул, где были «водовороты» и где, нередко, люди тонули; не прочь он был также принимать участие в «кулачных боях», которые бывали по воскресеньям на слободской базарной площади.

Впоследствии я видел эти «бои»; на них из города многие приезжали посмотреть.

Две «стены» людей выстраивались друг против друга.

Сперва с той и другой стороны «задирали» мальчики-подростки и барахтались между собой; потом выступали взрослые и дрались в одиночку, или парами, но, затем, страсти разгорались, и уже «стена» шла на «стену».

Та и другая то подавалась вперед, то отступала, и, иногда, ни одна, ни другая не бывала победительницей.

Но случалось, что, вдруг, одна «стена» прорывалась и люди рассыпались в разные стороны, точно камни разрушаемой настоящей стены.

Случалось это, обыкновенно, когда свежая партия бойцов неожиданно примыкала к той или другой стороне.

Стены слагались из разновидных элементов, однако же с преобладанием всегда какого либо основного состава, который и давал «стене» свое название.

Бывали стены «мясников», «слободских», «вольных», «жидов», «адмиралтейских», «крючников» и т. п.

Среди евреев чернорабочих, крючников и мясников выдавались замечательные бойцы.

Иван, когда ему удавалось урваться, примыкал к стене «вольных» и нередко синяки или царапины на его лице свидетельствовали о том, что он побывал на боевой арене.

Часто исход боя решала кучка матросов, случайно забредших поглазеть. Они, вдруг, неожиданно, выходили из своего нейтралитета и кидались на помощь теснимой стороне. Тогда картина быстро менялась.

Но чаще всего, обе стороны считали себя победителями.

Исковерканных в кровь физиономий бывало, при этом, не мало, но никто это за обиду не принимал.

Раз или два пришлось услышать, что бывали смертные случаи на месте боя. Угодит кто-нибудь неосторожно в висок, — и готово.

Мы гадали, не погибли так, или иначе, наш Иван, но тела его нигде не нашли, несмотря на все розыски.

Только позднее пошел слух, будто бы он, не дождавшись «вольной», примкнул к бродячему венгерскому цирку, где, наряду с другими номерами, ставились «военные пантомимы», с участием многих статистов.

Впоследствии, читая у Некрасова, «где ты, эй, Иван»? невольно сближал пророческое ясновидение поэта с реальною судьбою нашего Ивана, с тою, однако, разницею, что, к чести бывших его владельцев, не только скула, но и зубы его были целы.

Вместо двух прежних лакеев у нас появился один, — степенный Петр, бывший буфетчик офицерской кают-компании дядиного экипажа, который, к тому времени, получил отставку.

Сам дядя Всеволод, получив чин генерал-майора (а не адмирала, так как все время занимал береговые места), вышел также в отставку.

Мундир, расшитый золотом и брюки с золотыми лампасами, он себе сшил, но стал одеваться в статское платье, что более шло к его мирной фигуре.

Мундир он стал одевать только в церковь, по высокоторжественным праздникам и в царские дни.

В качестве мужской прислуги у дяди Всеволода появился «Васька», мальчик лет четырнадцати, который очень скоро стал большим моим приятелем и играл значительную роль в моей юной жизни.

В первый раз я увидел Ваську, в отведенной ему каморке, покрытым двумя не то лошадиными попонами, не то одеялами; он лежал, его трясла лихорадка, он был очень худ и бледен.

История его была такова.

Он был кирьяковский, круглый сирота, был раньше во двор «на побегушках» и, когда объявили «волю», не имел куда деться. К тому же он подхватил где-то малярию и аккуратно, каждый день, его, по часам, трясла жестокая лихорадка.

Дядя Всеволод решил взять его к себе в город. Его начали лечить и, довольно скоро, поставили на ноги.

Вся служба Васьки, при дяде, состояла в том, что он чистил ему сапоги и платье и набивал ему трубку жуковым табаком, а когда дядя брал трубку, чтобы курить, чиркал «серник» (спичку) и подносил его к трубке, набитой табаком.

Остальная прислуга вся была женская, она и убирала комнаты.

Васька оказался очень живым и сообразительным малым.

Заметив, что я много читаю, забирая с собою книжку в сад, где он, почти всегда, был моим спутником, он выразил желание научиться грамоте. Я тотчас же, с гордостью, принялся за его обучение.

Каждый день являлся он ко мне с азбукой в руках и ученической тетрадкой и очень скоро достиг прекрасных результатов.

Менее чем в полгода он стал недурно читать по печатному и преуспел четко и довольно красиво вывести на своих тетрадках и книжках, которые я ему подарил: «Василия Шевченко».

Фамилия его была подлинно «Шевченко» и, познакомившись впоследствии с именем и судьбою знаменитого поэта Шевченко, я не прочь был горделиво допустить, что и друг моего детства, Васька, одного рода с бывшим также крепостным Тарасом Шевченко.

Склонности к поэзии «мой Шевченко», однако не обнаруживал никакой, если не считать поэтическим занятием ловлю щеглов и чижей, чему он меня научил, и еще страсти к

голубиному спорту, которому, под его руководством, я одно время, с увлечением, предался.

Дядя Всеволод накупил мне голубей, в том числе великолепного «красного турмана», которых мы (с Васькой) поместили в пустовавшую ранее голубятню, над конюшней, и гоняли под вечер на диво всей дворне.

Смастерил он мне также великолепного бумажного змия, почти одного со мною роста, который мы «запускали» на длиннейшем шнуре так высоко, что, на своей высоте, он казался не больше почтового конверта.

Лазили мы с ним и на деревья есть шелковицу. В саду было два роскошных дерева, одно белой, другое красной шелковицы. Деревья были на самой границе сада, у «жидовской стены».

Взобравшись на любое из них, перед нами открывался весь «жидовский двор», где на куче слежавшейся золы черноглазые «жидовочки» и «жиденята» всегда сторожили наше появление на дереве, так как мы забавлялись тем, что бросали им пригоршни спелой шелковицы.

По зимам Васька мастерил в глубине сада снежную горку и мы с ним на узких санках, а не то и просто кубарем скатывались с нее. Но зимы в Николаеве стояли недолго, и снег довольно быстро таял.

Но, наряду с массой приятных минут и часов, прожитых мною, благодаря предприимчивой изобретательности Васьки, именно его предприимчивая непоседливость бывала источником и больших моих беспокойств и, даже, страданий.

Хотя у Васьки, — я отлично это знал, — не было в городе ни знакомых, ни родственников, куда бы он мог ходить, он отпрашивался каждое воскресенье и в праздники «погулять». Дядя Всеволод всегда отпускал его, но только строго наказывал, чтобы к четырем часам (время пробуждения дяди от послеобеденного сна) Васька с готовой для него трубкой был на месте.

Для меня не было секретом, куда именно устремляется Васька каждый праздник в определенный час. Он спешил на слободскую площадь, где происходили кулачные бои.

Глядел ли он только, или его тянуло принять в них участие, не знаю, но нередко он возвращался с опозданием.

Это приводило меня в отчаяние, так как дядя Всеволод просыпался, обыкновенно, минута в минуту и тотчас же из спальни раздавался его голос: «Васька, трубку»!

Я по часам следил за временем, выбегал на улицу поглядеть, не идет ли наконец Васька, и беспокойству моему не было предела. Мысленно я, даже, молился Богу, чтобы Васька поспел во время.

Чего я, собственно, боялся, не даю себе отчета.

Я мог бы, путем уморассуждений, легко прийти к заключению, что особенной беды не воспоследует.

Но уже одна мысль, что милый дядюха должен будет сердиться и покричать на Ваську, была для меня неприятна. Чаще всего случалось, что я по-пустому волновался.

В большинстве случаев, Васька умудрялся поспеть как раз во время, когда уже из дядиной спальни раздавался его голос: «Васька, трубку»!

Но раза три в зиму (кулачные бои бывали только поздней осенью и зимой) Васька, все-таки, значительно опоздал.

Тогда я спешно подавал дядюхе трубку с таким видом, будто отбиваю у Васьки эту честь.

Дядя, однако, скоро прозревал истину, и когда Васька, наконец, появлялся, прикрикивал на него.

Раз за слишком долгое опоздание дядя, бывшим у него в руках чубуком, даже поддал ему по заду, когда тот нагнулся, чтобы поднести зажженную спичку к трубке.

Васька не моргнул глазом и спичка у него не погасла.

Я после участливо допрашивал его: «больно досталось»?

— Какое больно, мазнул только! — обнадежил он меня.

Глава двадцать восьмая

В Николаеве начали, постепенно, съезжаться учителя будущих гимназий.

Приехал также директор мужской гимназии Парунов, человек не старый, с обрюзгшим, круглым лицом, без усов, но с бакенбардами.

Он сделал маме визит, пожелал видеть меня и посоветовал маме «сдать» меня «в рекруты» при самом открытии гимназии. Это он шутил так в моем присутствии, но и его шутки, и сам он, с растопыренными толстыми волосатыми пальцами на руках, мне совсем не понравились.

На этом знакомство с ним у мамы и окончилось.

Он не был женат, а при нем жила какая-то дальняя родственница.

Из наехавших учителей Григорий Яковлевич особенно рекомендовал маме учителя естественных наук Бобровского. Мама пригласила его давать нам уроки, и он преподавал нам естествоведение.

Помню один урок, на котором шла речь о строении млекопитающих и самого человека.

Он демонстрировал это на только что зарезанном поросенке, которого доставили из кухни, на большом блюде, в сыром виде.

Он «вскрыл» его и показывал нам сердце, легкие, мозг и объяснял расположение и функции желудка, печени, селезенки и кишок.

Все домашние сошлись глядеть на эту «умственность».

Мне она не пришлась по вкусу.

Я не мог никогда видеть крови без ощущения тошноты; притом же розовый, оголенный от шерсти поросенок очень походил на крошечного ребенка.

В другие разы наш естествовед показывал нам некоторые физические и химические опыты; между прочими, опыт горения кусочка угля в кислороде. Это было куда интереснее.

Относительно математики я всегда сам считал себя очень отсталым. Она была мне всегда нестерпимо скучна, пока впоследствии дело не дошло до геометрии и тригонометрии, которые давались гораздо легче. Но алгебра… мне до сих пор противно о ней вспоминать.

Может быть это объясняется отчасти тем, что с учителями математики мне с самого начала и до конца не повезло.

Для гимназии был намечен приехавший из Одессы маленький, худой человечек, по фамилии Гертнер. Говорили, что

он «чахоточный» и что потому из под кочковатой растительности на его лице так резко выступают его красные щеки.

Из всех учителей, прибывших в Николаев, он один не сделал маме визита.

Это объяснялось тем (мама так объясняла), что он считался женихом вдовствующей госпожи Тремер, которая имела в Николаеве женский пансион, известный, почему-то, под названием «пансион madame Mimi».

В этот пансион родители, которые не могли справиться с леностью или дурным характером своих девиц, отдавали их для исправления.

Госпожа Тремер (или madame Mimi) очень хотела залучить к себе в качестве учительницы нашу mademoiselle Clotilde, но та наотрез отказалась от подобной чести. «Madame Mimi» приезжала по этому поводу переговорить и с нашей мамой, но последняя ее сухо приняла.

Этого было достаточно, чтобы возникла с обеих сторон глухая, скрытая, но, по-видимому, непримиримая вражда.

О самом Гертнере, притом, ходили слухи, что он крайне раздражительный, упрямый и придирчивый педагог.

Что он был подлинно женихом бездетной вдовы Тремер, — ясно было уже из того, что в лунные вечера их можно было видеть всегда вместе гуляющими взад и вперед по бульварчику, протянувшемуся вдоль всего квартала, где был пансион «madame Mimi».

Издали эта пара представлялась отчасти комичной: она высокая, полная, величаво выступающая, он тощий, маленький, суетливо семенящий худыми ножками, чтобы поспевать за нею. Озаренные лунным сиянием, они вызвали чье-то вдохновение и все в городе знали четверостишие:

Гертнер с Тремершей гуляют
От угла и до угла,
И, при этом, рассуждают:
Отчего земля кругла?

Так как в это время долго дебатировался, а затем, по-видимому, окончательно вырешился вопрос о моем поступлении в гимназию, меня стал очень тревожить вопрос о степени моей подготовленности по математике и я даже пробовал внушать маме мысль, что я непременно провалюсь на вступительном экзамене, и что не лучше ли переждать еще год.

Но Григорий Яковлевич Денисевич и mademoiselle Clotilde очень настаивали на том, что мои страхи напрасны, и находили,

что я слишком женственно поведен и что только общение со школьными товарищами вырабатывает характер и закаляет его.

Мама временами колебалась. Она опасалась нежелательных примеров и дурного влияния.

Гимназия образовывалась из прежнего штурманского училища, которое пользовалось дурной славой.

Воспитанники старших классов, очень распущенные, считались, до известной степени, бичем города.

Особенно безобразно было их поведение в еврейских кварталах, где ютились семьи ремесленников, которым разрешалось жить в городе. Тут они уже совсем не стеснялись: направо и налево давали зуботычины, приставали к молодым девушкам и обрывали уши босоногим жиденятам, игравшим в бабки на площадке синагоги.

Но и независимо от этих специфических развлечений, они, вообще, были крайне дурно воспитаны и даже публично появлялись иногда не трезвыми.

Штурмана во флоте вообще считались париями и из «хороших семей» никто не отдавал своих детей в это училище.

Григорий Яковлевич, который был хорошо осведомлен относительно имеющей совершиться переформировки училища, утверждал, что ученики всех старших классов будут переправлены в Севастополь для продолжения курса до выпуска их в штурманы, а в гимназии останутся интернами только мальчики двух младших классов. В первый год, вообще, будут открыты только первые четыре класса, а старших учеников пока и вовсе не будет.

Относительно сестры мама твердо решила, что она не поступит в гимназию ране четвертого, или пятого, класса, и только в том случае, если гимназия окажется на должной высоте.

Когда решались эти вопросы, мне минуло десять лет, а сестре двенадцать.

Григорий Яковлевич находил, что я вполне подготовлен для второго класса и было решено, что, когда мне стукнет одиннадцать, меня повезут держать вступительный экзамен именно во второй класс.

Моему страху перед математикой в лице, как мне казалось, уже заранее невзлюбившего меня Гертнера, суждено было, по-видимому, к тому времени также рассеяться.

Позднее других прибыл в Николаев будущий инспектор гимназии (и вместе учитель математики для будущих старших классов, именно с пятого) очень «симпатичный хохол», как аттестовала его мама после первой встречи, по фамилии Федорченко.

Мама хотела его пригласить для уроков, но он не находил возможным давать частные уроки детям, готовящимся в гимназию, где в качестве инспектора он будет главным экзаменатором. Узнав же о моих страхах перед математикой и об опасениях мамы относительно придирчивости Гертнера, он сказал, что сам проэкзаменует меня и что далее четырех правил арифметики ничего с меня не спросит.

Его близорукие глаза, мягко глядевшие из-за черепаховых круглых очков, и сам он, немного ожиревший, но живой и веселый, внушали полное доверие и я перестал трепетать и думать о коварных против меня замыслах чахоточного Гертнера тем более, что тот же Федорченко отрицал и самую его чахотку, утверждая, что он «отродясь такой, и нас всех переживет».

Одновременно с этим, при участии дяди Всеволода, решался и другой вопрос, который мне улыбался гораздо больше, нежели предстоящее закаливание моего характера в гимназии общением с товарищами.

Состоялось соглашение, что одновременно с моим поступлением в гимназию, я перейду жить к дяде Всеволоду, а Нелли, которой шел уже седьмой год, станет жить у мамы в большом доме, чтобы заниматься с M-lle Clotilde и брать некоторые уроки у приходящих к сестре Ольге учителей.

Я, «как мужчина» должен жить с мужчиной, т. е. с милейшим моим дядюхой.

И я и он как-то смешно возликовали по поводу такого решения, хотя, и без того, мы виделись с ним несколько раз в день и забегал я к нему, когда вздумается.

Мне почудилось даже, что он возгордился тем, что мама, авторитет которой он ставил очень высоко, оказала ему столько доверия, поручая ближайшее попечение о ее родном, и при том единственном, сыне.

Он удвоил (если только было возможно) свою ласку и внимание ко мне и мы почти не расставались.

Глава двадцать девятая

В ожидании моего поступления в гимназию все домашние как то особенно ласкали и баловали меня, точно, и впрямь, готовились «сдать в рекруты», или расстаться надолго.

Большим «баловством» считала мама, когда согласилась отпустить меня с дядей Всеволодом «прокатиться в Херсон», куда среди зимы он должен был съездить на несколько дней по делам наследства.

Я возликовал, когда Надежда Павловна и mademoiselle Clotilde стали снаряжать меня в «дальнюю дорогу».

Мне купили валенки и широкий бараний тулупчик, который можно было надеть поверх теплого пальто. Кроме меховой шапки обмотали голову еще башлыком и дали меховые рукавицы. Вся фигура моя точно распухла и выросла.

Ко дню нашего отъезда выпал хороший снег. Стояла чудная погода, мороз был не сильный, но снег держался крепко.

Дядя Всеволод, одетый, как и я, совсем по-дорожному, предсказывал, что «по первопутку» в санях мы пролетим все шестьдесят верст, не оглянувшись.

Это мое первое на почтовых лошадях путешествие, представлялось мне огромным событием.

Нам подали широкие, до верху сплошь устланные сеном, сани-розвальни, в которых можно было, при желании, не только удобно сидеть, но и лежать во всю длину.

Ямщик, с блестящими медными бляхами на рукаве и на ямской шляпе, четверка сытых лошадей, с бубенцами и колокольчиком, подвязанным к дышлу, все это казалось мне чреватым несказанными радостями.

И действительно, быстрая езда по гладкой санной дороге, с пушистым снегом, кидаемым на ходу задними копытами пристяжных и с неумолкающими переливами звякающего колокольчика, наполняли грудь какою-то захватывающею радостью.

Ногам, тонувшим в мягком сене, и всему телу было тепло и только щеки как-то весело щекотало, когда на них попадали пылинки холодного снега.

Ямщик, с запорошенной снежным налетом бородой, иногда привставал у своего облучка, встряхивал возжами, или взмахивал в воздухе кнутом и вскрикивал: «эх, вы, милые»! Тогда вся четверка пускалась вскачь и неслась так, что дух захватывало. Потом лошади переходили постепенно опять на рысь и, фыркая и поматывая головами, отмеривали версту за верстою.

На двух станциях нам спешно сменяли лошадей и давали опять сытых, хороших.

Дядя Всеволод, посмеиваясь, сказал: «сообразили, что везут брата губернского почтмейстера, стараются. Когда я ехал на перекладных в Петербург держать экзамен на мичмана, мне таких лошадей нигде не давали.»

На предпоследней станции нам подали кипящий самовар, и мы пили чай. Жена смотрителя принесла нам яиц, масла, и теплый крендель, обсыпанный маком.

Ничего вкуснее я не пил и не видал во всю мою жизнь.

В Херсон мы въехали еще засветло.

Улицы были не такие широкие, как в Николаеве. Сани легко закатывались на поворотах, так как мостовые шли покато к краям.

Дома были выше и лучше николаевских, попадались двухэтажные.

Мы подъехали, как раз, к большому двухэтажному дому, выкрашенному в желтый цвет, с белыми отводами.

Над первым этажом было что-то вроде вывески, с двуглавым орлом посредине.

Дядя мне объяснил, что внизу была почтовая контора, а квартира Аполлона Дмитриевича, почтмейстера, была во втором этаже, откуда выступал балкон на улицу.

Дверь парадного подъезда выходила на улицу и вела в квартиру. Почтовая контора имела свой отдельный вход по другой стороне дома.

Аполлон Дмитриевич и Тося, очень мне обрадовавшиеся, встретили нас на верхней площадке лестницы и оживленно нас приветствовали.

В квартире было уютно и тепло и она показалась мне довольно обширной и хорошо обставленной.

Грацию Петровну и Маню мы увидели только значительно позднее; они уехали на загородный пикник, организованный ими по случаю «первопутка».

Женя и Саша были дома и скоро примкнули к нашей компании.

На этот раз Женя была менее недотрога. Она очень сдружилась с Тосей потому, что Маня, в качестве взрослой, (ей минуло шестнадцать лет) стала много «выезжать», а она, оставаясь дома, скучала.

Старой, чопорной немки при ней уже не было, а была цветущая, вся в веснушках, рыжеватая швейцарка, с массою взбитых волос на голове.

Она сменила немку для практики детей во французском

языке, но выговор ее был не такой чистый, как у нашей Клотильды.

Женя ее третировала свысока, называя просто «Бертой», и говорила с нею не иначе, как капризным тоном.

Вместе с Грацией Петровной и Маней приехали с пикника и их кавалеры. Во время обеда, который здесь был в тот час, когда у нас был ужин, я их хорошо разглядел.

Их было трое.

Тот, который был постарше, был домашним врачом Грации Петровны, лечившим ее от нервов и мигреней. Это он посылал ее ежегодно на воды в Эмс. Какой он был национальности, — не знаю, но фамилия его была не русская. Он не был красив, но у него были удивительно белые, холеные руки и на его левой руке играл при свете бриллиант его кольца, Он был молчалив и сдержан, но кушал с большим аппетитом.

Грация Петровна, знакомя его с дядей Всеволодом, не преминула очень расхвалить своего доктора и даже советовала дяде вызвать его в Николаев для консультации по поводу частых недомоганий Нелли.

Дядя очень благодарил ее, но поспешил заметить, что, слава Богу, его Нелли теперь окрепла и с каждым днем набирается новых сил.

Двое других кавалеров были молодые люди. Один — высокого роста, несколько сутуловатый брюнет, в золотых очках на близоруких глазах, был довольно застенчив и говорил как-то неуверенно, точно оглядываясь, или прислушиваясь по сторонам.

Что-то мягкое и симпатичное было в его лице и в его манерах, и он мне сразу понравился.

Его часто перебивал на полуслове другой, самоуверенный и говорливый блондин, с красивой окладистой бородой и низко отпущенными волосами.

Первого звали Иваном Дмитриевичем Ревуцким, второго Александром Александровичем Енкуватовым.

Их характеристику, в тот же вечер, когда всё разошлись, Аполлон Дмитриевич, с большим оживлением, делал дяде Всеволоду, не стесняясь моим и Тосиным присутствием.

И. Д. Ревуцкий был окончивший курс лицеист, старший сын одного из богатейших помещиков Екатеринославской губернии. В Херсоне он служил чиновником особых поручений при губернаторе и ждал судебной реформы, чтобы перейти в судебное ведомство.

В последнее время он бывал очень часто в доме Аполлона Дмитриевича и последний весьма прозрачно давал понять, что молодой человек бывает у них и всюду следует за Маней не с

проста и что лучшей партии он, как отец, не мог бы желать.

Об А. А. Енкуватове был менее восторженный отзыв, не без оттенка некоторого раздражения.

По словам Аполлона Дмитриевича, это был, прежде всего, «большой насмешник». В городе его считали умником и остряком, побаивались его пера и языка и потому всюду гостеприимно принимали. Он пописывал в одесских журналах, немного рисовал и карикатуры его ходили по рукам. В прошлом году он так высмеял в журнальной корреспонденции устроительниц благотворительного базара, что местные дамы долго не могли ему этого простить.

Он был членом многочисленной семьи совершенно разорившегося помещика, бывшего гусара, доживающего где-то в глуши свой век.

Одесского лицея молодой человек, вследствие какой-то «студенческой истории», не кончил, но, благодаря старым связям отца, занимает какую-то, и притом довольно значительную, хотя и временную, должность «по крестьянским делам».

Он также весьма неравнодушен к Мане, но о чем либо серьезном тут не может быть и речи.

Уже до этой характеристики, пока мы сидели долго за столом во время обеда, я стал догадываться, что оба молодых человека, сидевшие с двух сторон Мани, расцветшей в настоящую красавицу, были влюблены в нее.

Они пикировались друг с другом по всякому поводу и даже без всякого повода, причем Маню это, по-видимому, очень забавляло, так как она одинаково кокетливо-равнодушно взглядывала то на одного, то на другого. Было что-то спокойное и властное в красот этой едва сформировавшейся девушки.

На меня, — я ощущал это отчетливо, Маня уже не обращала ровно никакого внимания. И, к моему собственному удивлению, это меня не слишком огорчало.

Я как-то удивительно быстро порешил мысленно, что она занята только своей собственной красотой и не способна вовсе на сколько-нибудь глубокое чувство.

Это меня разом примирило с нею, и я без малейшей тревоги мог теперь разглядывать ее, сколько хотел.

Александр Александрович Енкуватов никого не оставлял в покое. В течение всего вечера он шутил, острил, подсмеиваясь и над самой Маней, но она этого не замечала.

Несколько раз поминал он и про Эмс Грации Петровны, кстати и некстати. Раз стал уверять, что Эмсовые лепешки, которые она привезла с собою и всегда имела при себе, за пояс заткнут всякий «жизненный эликсир», даруя вечную молодость.

Другой раз сказал, что она скоро обнаружит дивный голос и запоет, а он сочинит для нее романс, который посвятит «милейшему doctore».

Даже меня он не оставил в покое.

Рассказывая что-то Тосе, думая, что кроме него никто меня не слушает, я, между прочим, нескладно обмолвился: «я читал про это, знаешь, в той серенькой книжке и т. д.» Александр Александрович тотчас же подхватил мою «серенькую книжку» и, глядя на меня в упор, стал дразнить: «ах, молодой человек, хорошо, что она была серенькая, если б она была зелененькая, вы бы прочли в ней другое».

Я спек рака, ничего не ответил, но про себя пожелал ему провалиться в глазах лучезарной Мани и почувствовал живейшую симпатию к его сопернику, незлобивому и неуверенному в себе претенденту на ее руку и сердце.

Мысленно я уже благославлял их.

В течение нашего с дядей пребывания в Херсоне, а это пребывание длилось несколько дней, я очень мало видел и Маню и Грацию Петровну. Обе они вставали поздно и выходили из своих комнат только к завтраку.

Днем они делали или принимали визиты, а вечером — или были в гостях, или у них были гости.

Аполлон Дмитриевич, с дядей Всеволодом, также редко оставались по вечерам дома. Они отправлялись в клуб играть в преферанс.

Мы, с Женей и Тосей, пользовались полнейшей свободой.

Швейцарка уводила Сашу рано спать и больше не появлялась.

Мы втроем засиживались долго и не скучали.

Жене особенно нравилось играть «в визиты».

Она кокетливо вытягивалась на «chaise longue», делала вид, что страдает мигренью, нюхала флакончик духов и давала целовать свою руку, когда мы, с Тосей, поочередно, расшаркивались перед нею и спрашивали о ее здоровьи.

Она отлично изображала «светскую даму», которую мы должны были занимать.

В этот раз Женя мне положительно начинала нравиться, тем более, что в отсутствие Мани, я как-то совсем о ней не вспоминал.

Когда игра «в визиты» приедалась, мы затевали игру в «прятки».

Женя всегда пряталась, а я большею частью искал, не зная хорошо их похоронок.

Найдя ее где-нибудь в темном углу, я не отказывал себе в удовольствии крепко обхватить ее и расцеловать. Она принимала

это как должное, точно это между нами было условлено.

Расходились мы по своим комнатам, только заслышав подъезжающий к подъезду экипаж.

Херсон мне нравился и времяпрепровождение наше я находил приятным.

Никто из взрослых нас не стеснял, не обращая на нас ровно никакого внимания.

У Тоси оказалась еще для меня приманка, о которой я и не мечтал. Я остолбенел, когда он мне только сообщил о ней, а когда увидел своими глазами, не мог прийти в себя от изумления.

На другой же день нашего приезда Тося повел меня во двор, где под длиннейшим навесом стояло много разных экипажей и саней и, в их числе, очень изящный, не высокий, двухколесный шарабанчик, кузов которого был красиво раскрашен «под плетенку».

В конюшне же, среди других лошадей, в отдельной загородке, стоял небольшой гненький конек, аккуратный и красивой масти.

Была у Тоси и соответствующая росту конька «английская сбруя» и седло, тоже «английское», желтой кожи, чтобы ездить на нем верхом.

Все это очень недавно он получил в подарок (от кого именно, — он не пояснял), и не успел мне еще об этом написать.

Когда Тося запряг в первый раз при мне своего «Гнедыша», причем колеса в шарабане были заменены, в виду снежной дороги, полуколесами, в виде полозьев, туго закрепленных у оси, я просто диву дался, так все вместе было игрушечно красиво и, одновременно, прочно и удобно.

Тося уже разъезжал один по городу, и сам отлично правил Гнедышем. Теперь мы с ним ездили вдвоем, при чем он был так мил, что давал мне охотно править. У меня оказалась к этому прирожденная сноровка. Правда, я достаточно насмотрелся на Николая и Игната и старался подражать им.

Гнедыш был чудная, очень ходкая лошадка.

Многих больших лошадей он обходил легко. Тося, по праву, гордился им и я, — должен сознаться, — без заглушенной зависти не мог не только говорить, но даже думать о нем.

Дядя Всеволод, полюбопытствовавший подробно оглядеть всю феерическую упряжку, точно чутьем угадал мои затаенные душевные муки и тотчас же объявил, что и у меня будет тоже и лошадка, и шарабанчик, и седло.

Он даже взял у каретника, который сооружал Тосе шарабанчик, какой-то чертеж, по которому решил заказать подобный же в Николаеве, где очень славился «венский

каретник».

Относительно же лошади дядя Всеволод просил Аполлона Дмитриевича не упустить случая, если подвернется подходящая, приобрести и доставить в Николаеве.

Когда мы возвращались с милым дядюхой обратно, на этот раз уже не в санях, а в крытом рессорном тарантасе, я чувствовал к нему такую нежность и такую любовь, сильнее и глубже которых, мне казалось, уже не может быть.

Весь он мне представлялся воплощением какой-то неиссякаемой доброты, которая, словно вода широкой реки, разлилась бы повсюду и ее хватило бы на всех, если бы ее не замыкали берега.

Глава тридцатая

По возвращении нашем из Херсона, уроки возобновились и их еще прибавилось.

Был приглашен новый учитель математики, также моряк с серебренными погонами (кажется штурман), но толковее прежнего нашего «туруруколы».

Я бывал рассеян и было иногда скучновато.

Слишком много было впереди ожиданий: гимназия, переход на житье к дяде Всеволоду и — видение далекого миража — конек, шарабанчик и седло…..

Мама находила, что это «затея» лишняя и слишком ранняя, но дядя Всеволод успокаивал ее, говоря, что первое время я могу ездить в шарабане с кучером, а верхом буду ездить с ним, или с Григорием Яковлевичем Денисевичем, который окончательно привился у нас в доме.

Мама все еще ходила в глубоком трауре и бывала нередко расстроена, даже, раздражена.

Сколько понимаю теперь, она таила какие-то личные переживания.

Заказанный дядею шарабанчик, в конце концов, удался на славу, но, Боже мой, сколько времени тянулось его сооружение. Мы, с милым дядей, ездили смотреть его, когда он был еще «в черне». Потом его грунтовали, потом красили, потом он еще «выстаивался» у каретника — и длилось это без конца.

С лошадью вышло и того хуже, — полное разочарование.

Из Херсона привели довольно видную, повыше Гнедыша. Но она оказалась и злою и норовистою. В стойле она раз ухватила меня за плечо зубами до синяка, а верхом два раза сбросила, поддав на ходу задними ногами.

Эти «злоключения» пришлось скрыть от мамы, но дядя Всеволод знал о них и очень сердился на Аполлона Дмитриевича и, даже, написал ему по этому поводу письмо.

Пришлось сбыть эту лошадь и искать другую. Временно ее сменила небольшая рыженькая, но неказистая на вид. Ей я обязан тем, что совершенно освоился с седлом и стал хорошо ездить верхом. Но в шарабанчике я почти на ней не ездил, рыси у ней хорошей не было и смешно было бы пускать галопом.

Только значительно позднее, когда я уже был почти год в гимназии, счастливый случай меня выручил и вознаградил за все.

Николай присмотрел вороненького конька, вполне подходящего, с чудесным ходом. Его владелец, юный офицер вновь прибывшего в Николаев пехотного полка, часто рысил на

нем верхом мимо наших окон.

Но он его не продавал, несмотря на все подходы Николая, желавшего мне угодить.

Однако, как-то офицер сам явился с предложением «променяться лошадьми», желая получить придачу.

Дядюха, видя как я весь загорелся от ожидания, совсем не торговался и с приплатою «тридцати серебренников», потребованных офицером, «Арабчик» стал навсегда моим достоянием.

— Должно быть, проигрался в карты, вот и приспичило, пусть отыгрывается, сообразил дядя Всеволод относительно внезапной решимости бывшего владельца Арабчика.

Арабчик оказался чудной лошадкой, нисколько не уступающей Гнедышу, даже постатнее его.

Сколько неизгладимых минут счастья он доставил всей моей дальнейшей юности, — невозможно и перечислить.

Я расстался с ним только, когда уже уезжал в Петербург в университет, на семнадцатом году моей жизни.

Но как я забежал вперед…..

Пока его у меня еще не было и образ Гнедыша и тогдашние мои неудачи с лошадьми были источником немалых, страданий.

До лета в этот год время для меня тянулось и медленно, и как-то тревожно.

Подходящих сверстников в Николаев у меня теперь не было.

Вася и Платон (дети Владимира Михайловича Карабчевского от первого брака), с которыми я раньше довольно часто по настойчивому желанию «моей милой тети Лизы» виделся и играл, теперь были уже в кадетском корпусе в Полтаве. Родившийся же у самой тети Лизы, Сережа был еще на руках у няни и у меня не было больше повода бывать в доме Владимира Михайловича.

Сама, так некогда пленившая меня, чернооkая, смуглая, стройная девушка теперь ждала уже второго ребенка.

Она почти никуда не выезжала, но раз я застал ее у мамы и сразу даже не узнал.

Лицо ее мне показалось опухшим, сама она как-то виновато все опускала потускневшие глаза.

Я, как всегда, поцеловал ее, но уже без прежнего волнения и восторженности.

Мне почудилось, что та уже похоронена, а эту мне только жалко.

Самым любопытным, и потому памятным, событием, совпавшим с ее визитом к маме, было ее сообщение о том, что у них сейчас гостит, неизвестно откуда взявшийся, старший брат ее мужа и покойного моего отца, Андрей Михайлович Карабчевский,

о котором давно в Николаеве ничего не было слышно и которого склонны были даже считать умершим.

По ее словам это был уже седой старик, похожий «не то на художника, не то на монаха», немного странный, но довольно симпатичный.

Маму это известие оставило как-то странно равнодушной, она только промолвила: «покойный Платон знать его не хотел, это позор для рода Карабчевских»!

Потом приезжал еще Владимир Михайлович и очень убеждал маму «принять брата», который хотел бы засвидетельствовать ей свое почтение.

Он и в Николаев попал проездом именно затем, чтобы, «побывать в святых местах», помириться «по христиански» со своими близкими.

Разрешение, в конце концов, было дано.

Его появлению у нас предшествовало не мало частью странных, частью смешных, частью непонятных для меня разговоров.

Насколько я понял, выходило так.

Когда-то лихой гусар, красавец, кутила и картежник, потом временно актер, потом неизвестно что, но вечно живой и предприимчивый, он умудрился быть «троеженцем» т. е. одновременно мужем трех «настоящих» (т. е. обвенчанных с ним) жен.

Дядя Всеволод и мама оба это согласно утверждали, расходясь лишь в незначительных подробностях относительно дальнейшего.

Три жены Андрея Михайловича Карабчевского, не разделенные временем («одновременные»), были за то основательно разделены пространством: одна жила в Курске, другая в Симферополе, третья в Тифлисе.

Долгое время они ничего не подозревали и он умудрялся жить с ними в ладу, наезжая периодически к каждой по очереди.

Все три были в него влюблены и боготворили его.

Первая, самая законная, что жила в Симферополе, так и умерла в счастливом неведении, полагая, что оставляет его безутешным вдовцом.

Две другие как-то проведали истину, но, списавшись, или свидевшись, решили скрывать ложность своего положения.

Умерла затем та, что жила в Тифлисе. Осталась только курская, не то помещица, не то богатая купчиха.

У этой была дочь взрослая и она решила прибрать беспутного родителя, сделать его домоседом и доподлинным супругом и отцом.

Она желала, чтобы он, прежде всего «очистился от греха», и стала его посылать замаливать свои грехи по святым местам.

Он побывал уже «на Валааме»; теперь, через Одессу, возвращался из-за границы, побывав «на Афоне».

Решил заглянуть и в Николаев, повидать родственников.

Все эти толки об Андрее Михайловиче происходили между мамой, дядей Всеволодом и, нередко, Григорием Яковлевичем Денисевичем, не стесняясь моим присутствием. Да и отделаться от моего «присутствия» было мудрено, я «совал свой нос» решительно во все, что творилось в доме.

Меня тогда поразило разнообразие и даже противоположность суждений и впечатлений, вызванных личностью Андрея Михайловича и его похождениями.

Я лично, про себя, довольно долго не мог взять в толк: почему нельзя иметь трех жен, если их любишь?…

Дядя Всеволод по этому поводу только потешался, замечая: «молодец, турецкая кровь в нем сказалась»!

Григорий Яковлевич очень настаивал на «свободе чувств» и склонен был прославлять «святость» двух женщин, решивших, из-за общей любви, нести до конца свой крест.

Мама сплошь возмущалась. Для Андрея Михайловича она не допускала никаких оправданий. Относительно двух, по мнению Григория Яковлевича, «святых женщин», запальчиво возражала: «хороши святые… просто дуры несчастные. Не спросясь броду, сунулись в воду. Обрадовались первому встречному заезжему искателю приключений, чтобы кинуться ему в объятия».

Григорий Яковлевич, по-видимому, близко принимал к сердцу затронутую тему, потому что не хотел уступить маме.

Он очень настаивал на том, что истинное чувство оправдывает многое, если даже не все.

Помнится, мама даже рассердилась.

— Умный человек, а говорит глупости, — кипятилась она. Ровно ничего не оправдывает, а доказывает только распущенность. Этим обыкновенно прикрываются……

Григорий Яковлевич, как-то смешно, насупился и только сказал:

— Уж очень вы строгая!..

Мама сказала: «я одинаково строга и к другим, и к себе».

Когда зашла речь о замаливании грехов и покаянии Андрея Михайловича, опять вышло разногласие.

Дядя Всеволод примирительно объявил: «кто Богу не грешен, Царю не виноват», но Григорий Яковлевич стал развивать ту же мысль дальше и, на возражения мамы, чуть ли не со злостью промолвил:

— Строгость, строгость!.. Преждевременное самобичевание, отрешение от лучших радостей жизни….. А вдруг наступит раскаяние на счет собственной строгости, выйдет тоже покаяние… Как по-вашему?!

— Зато без чувства брезгливости к самой себе…. Сожаление может быть…. Когда совесть чиста — и грусть не угнетает….

Григорий Яковлевич, точно качая в такт головою, промолвил:

— Я вам завидую, право, завидую….

— Какая есть, — как-то неуверенно, — промолвила мама.

Самое появление Андрея Михайловича имело гораздо менее эффекта, нежели все предшествовавшие толки о нем.

Я его совсем не видел. Мы, с сестрой и M-lle Clotilde как раз уехали в это время в Лески, где замелькали уже подснежники. Мама отозвалась только о нем: «не понимаю, с чего взяла Лиза (она так интимно называла вторую жену Владимира Михайловича, „мою“ тетю Лизу), что он похож не то на художника, не то на монаха. Сейчас видно, что был пропойца, просто слезливый старичишка, с растрепанными волосами».

Дядя Всеволод с этим не вполне соглашался, внося поправку: «однако и сейчас видно, что был красавец».

Григорий Яковлевич вовсе его не видел и о нем больше не заговаривал.

Когда совсем надвинулась весна, он вдруг завел речь о своем отъезде из Николаева навсегда.

Это было так неожиданно, что я даже ахнул: «а как же моя гимназия»?

Мама мне почти строго сказала: «а чем же это может помешать тебе? Григорий Яковлевич давно тяготится своим учительством, рано или поздно пришлось бы расстаться».

Тут я заметил, что Григорий Яковлевич, вне своих уроков, вовсе, вдруг, перестал приходить и подолгу засиживаться, как прежде, у нас, беседуя с мамой. Затем с неделю опять вдруг зачастил и, наконец, пришел проститься: отъезд его был решен окончательно.

Мне казалось, что я, сестра Ольга, дядя Всеволод и mademoiselle Clotilde были гораздо более огорчены расставанием с ним, нежели мама. Мы его расцеловали все. Маме он без конца целовал руки, а она только один раз поцеловала его в лоб.

Пароход, с которым он уезжал через Одессу в Крым, отходил рано утром и мама сказала, что провожать его мы не поедем. Дядя Всеволод по этому поводу заметил: «дальние проводы, лишние слезы».

Отъезд его на первых порах сказался как бы пустотою какою-то в доме и я искренно огорчался.

Мама же наоборот, как-то вся приободрилась, точно повеселела. Она снова стала охотно играть на рояле, который было забросила, и все больше и больше была с нами, почти неразлучно.

Mademoiselle Clotilde нежно, почти любовно, с затаенным восторгом, взглядывала на нее.

Глава тридцать первая

Новые владельцы Кирьяковки, Аполлон Дмитриевич и дядя Всеволод, очень звали маму на лето туда, но она почему-то заупрямилась и не поехала.

Она сослалась на то, что теперь туда наезжают гости, а она еще в трауре.

Но меня, с дядей Всеволодом, и сестру Ольгу с mademoiselle Clotilde погостить отпустила.

Грация Петровна занимала теперь апартаменты бабушки, там же был и кабинет Аполлона Дмитриевича. У кузины Мани тоже была внизу очень изящно обставленная комната, по розовому, вся в кружевах. Женя, с швейцаркой своей, занимала прежнюю комнату Надежды Павловны, которая оставалась с мамой в городе.

Мы с дядей Всеволодом расположились все на верху, Тося пожелал быть неразлучным со мною.

В Кирьяковке почти каждое воскресенье появлялись гости, съезжавшиеся еще накануне; для них был отделан заново флигель в старом доме.

Чаще всего это были все те же трое, которых я видел и с которыми познакомился в Херсоне: доктор Грации Петровны, суженый кузины Мани И. Д. Ревуцкий и насмешник А. А. Енкуватов.

Тут обстояло все по-прежнему: доктору Грация Петровна жаловалась на мигрени и собиралась в Эмс, двое других, более чем когда либо, были влюблены в Маню, всюду следовали за нею и пикировались между собою при всяком удобном случае.

Общие симпатии как-то незримо окрыляли теперь застенчивого И. Д. Ревуцкого и он, нет, нет, ухитрялся ловко парировать язвительные шпильки противника. Тогда все хором охотно кричали по адресу неугомонного А. А. Енкуватова: «выдохлись, выдохлись, довольно»!

У Жени завелась подруга, Наташа Л.

Она была почти такая же красавица, как «кузина Маня», но только совсем в другом роде, и ей было четырнадцать лет.

Маня была блондинка, с чертами Мадонны, которую я видел на гравюре у мамы в альбоме, у Наташи же, которую все звали «Талочкой», были каштановые волосы и карие, а не синие как у Мани, глаза и на щеках чудные ямочки; вся же она походила на нарядную фарфоровую статуэтку французского стиля.

Она была «наша», Николаевская, но воспитывалась в Одесском Институте и только на каникулы бралась домой.

Но дома отец ее, военный инженер, нелюдимый вдовец, решительно не знал, что делать со своими двумя дочерьми, из которых старшая, «Шета» (Александра), была уже в выпускном классе.

Он вечно гостили у кого-нибудь из знакомых, так как скучали дома.

Старшая гостила теперь у кого-то в Екатеринославской губернии и чуть ли не была уже невестой. «Талочка» случайно подружилась с Женей на пароходе, везшем их из Одессы, куда из Николаева и Херсона модницы, весною и осенью, ездили за нарядами.

Эта «Талочка» меня сразу очаровала. Она затмила в моих глазах не только «мою тетю Лизу», образ которой сам собою как-то затуманился, но и самое «кузину Маню», к которой меня не влекло больше.

«Талочка» была большая кокетка.

Ей нравилось, что я и Тося, на перебой, старались ей услужить, ловя на лету малейшее ее желание. Ей не было с нами скучно.

Неизбалованная ухаживаниями взрослых, она охотно принимала наше рыцарское преклонение пред ее красотой.

Тося ужасно досадовал, что «как раз, когда надо», не мог привести в деревню своего Гнедыша с шарабанчиком.

Гнедыш его захромал; ветеринар нашел, что он «сплечился», и предписал продолжительный покой и лечение.

Я же втайне благословлял судьбу, что она меня пощадила: какое преимущество имел бы Тося в глазах Талочки со своим шарабанчиком, на котором он, наверное, возил бы ее на все наши экскурсии и прогулки на своем великолепном Гнедыше.

Теперь мы ездили все вместе на разных лошадях и в разных экипажах, причем я и Тося имели одинаковые шансы быть с нею в одной компании, так как Маня со своими кавалерами держалась, в качестве взрослой, особняком.

Скоро я «окончательно влюбился» в Талочку и испытывал все муки ревности, когда подчас мне казалось, что она уделяет Тосе больше внимания, нежели мне.

Я хотел бы быть один на веки с нею.

В минуты малодушного отчаяния, я даже пробовал «сочинять стихи»….

Помню только жалкий акростих на ее сокращенное имя «Тала».

Тебя люблю и обожаю,
А все что было забываю,

Люблю тебя, как никого
А ты за это — ничего!

По счастью, решимости не хватило поднести его предмету моей страсти. Я даже поспешил изорвать начертанное, боясь, чтобы оно как-нибудь случайно, не попало в руки А. А. Енкуватова. То-то было бы потехи, не чета «серенькой книжке», которую я еще ему не простил.

Бог весть, каким чудом эти четыре глупых стишка, однако, застряли в моей памяти.

К концу нашего пребывания в Кирьяковке, перед отъездом Грации Петровны и Мани в их неизбежный Эмс, было большое, не вполне понятное мне тогда, торжество.

Наехали какие-то власти из Херсона, был на лицо мировой посредник с отвисшими усами, были и гости, соседние помещики.

Утром были собраны крестьяне на молебствие, которое причт соседнего села Солонихи служил с большою торжественностью на открытом воздухе.

Потом для крестьян-домохозяев были накрыты в саду столы и их угощали сытным обедом, причем в стаканчиках разносили водку, а на столах были кувшины с пивом и медом.

Аполлон Дмитриевич, со стаканом в руке, говорил, стоя в середине столов, речь и выпил за здоровье своих «будущих добрых соседей», обещая жить с ними мирно и ладно.

В ответь обедавшие крестьяне благодарили и Аполлона Дмитриевича и дядю Всеволода, который был тут же, называя их своими новыми владельцами.

Вечером для деревенской молодежи было устроено во дворе особое празднество. Тут были и парни, и девушки; старики, со старухами и малолетками, тоже пришли поглядеть.

Всех угощали сластями, орехами и медовыми пряниками.

Девушки водили хоровод и пели. Порою в их круг врывались парни, иные из них ловко и «фигуристо» отплясывали «казачка».

Кирьяковские крестьяне почти сплошь были «хохлы», все народ видный и рослый. Девушки, как на подбор, были красивые, статные, в своих ярких, пестрых нарядах. Пенье было складное, без выкриков и под сводом звездного, точно смоль, черного неба, казалось, поднималось в высь легким дымком.

Грация Петровна, пышно разряженная, стоя на террасе, окруженная гостями, величественно, словно царица, благодарила девушек и парней за доставленное удовольствие.

Все шло великолепно. Аполлон Дмитриевич, как всегда, несколько суетливый, не скрывал своего восторга. Дядя Всеволод,

более спокойный, имел также довольный вид.

Но, к концу празднества непредвиденное несчастье всех повергло в расстройство и уныние.

У Тоси этим летом был учитель, готовивший его в гимназию, дюжий студент Дерптского университета, сын пастора в Николаеве, Кибер.

Он считался силачом и спортсменом и часто затевал всевозможные игры в воздухе: в гуси-лебеди, в горелки и так далее.

И тут он не преминул наладить серию таких игр, в которых приняли участие не только мы, но кое-кто из деревенских парней и девушек, побойчее.

Вокруг скучилась деревенская детвора и жадно глазела на разыгравшихся «панов».

Во время одного из своих разбегов, когда ему пришлось быстро попятиться задом, чтобы уклониться от настигавшего его парня, злополучный Кибер, со всего маха сшиб пятилетнюю. крестьянскую девочку, зазевавшуюся на играющих.

Несчастный ребенок повалился замертво навзничь на землю и кровь фонтаном хлынула из горла.

Через несколько секунд все уже знали, что она мертва.

Ее бережно снесли в ближайшую людскую и скоро отсюда. понеслись душу раздирающие плач и вой ее родителей и многочисленных родственников.

Поднялось общее смятение.

В толпе начался ропот, послышались даже угрозы по адресу Кибера.

Несчастный схватил себя за голову и бегом пустился куда-то.

С Грацией Петровной сделалась истерика и доктор увлек ее в ее апартаменты. Аполлон Дмитриевич обратился к толпе с речью, желая успокоить ее, а дядя Всеволод ходил в людскую к родителям убитой девочки и делал распоряжения относительно панихиды на завтрашнее утро. Все искренно жалели и оплакивали несчастного ребенка.

Всю ночь из людской неслись жалобные причитания и женские голосистая завывания.

Гости мигом разъехались, а домашние, кто куда, забились по своим углам.

Кибера напрасно искали, — его нигде не могли найти.

В полутемном коридоре я наткнулся на рыдавшую Талочку. Упершись локтями в подоконник и закрыв лицо руками, она вздрагивала, ее плечики подергивало, как в лихорадке.

Затаив дыхание, я приблизился к ней, испытывая болезненно-острое наслаждение при одной мысли, что именно я, один я, с

нею, пока она так страдает.

Жгучий толчок меня приблизил к ней и какая-то дикая смелость овладела мной. Я ухватил ее голову своими руками и стал без конца осыпать беззвучными поцелуями ее волосы, шею и обнаженный плечики.

Она не сопротивлялась и не меняла положения.

Но, вдруг, послышались голоса сестры и Жени. Они кликали Талочку. Я встряхнул ее, она откинулась и беспомощно положила руку на мое плечо. Это прикосновение обожгло меня.

Я держал ее еще в своих объятиях, когда Женя и сестра приняли ее от меня и увезли с собою…..

Так улетело мое сновидение.

Я долго не мог заснуть в своей постели, прислушиваясь, как ровно сопит и дышит Тося. Со двора все еще неслись какие-то заглушенные вскрики. Чуялась тревога, близость где-то притаившейся смерти. Она подстерегала каждого… и Талочку.

Как бы я укрыл ее здесь в теплой постели, крепко обхватив ее дорогое тельце…..

На другой день все разъехались.

Кибера нашли под утро спящим в отдаленной беседке сада.

С рассветом его с предосторожностями переправили в город.

Талочку я видел только мельком, когда она с Грацией Петровной, Маней и Женей, отъезжала в коляске от крыльца.

Для нас с mademoiselle Clotilde подали отдельный экипаж.

Тося и Саша еще раньше уехали с Кибером.

Дядя Всеволод и Аполлон Дмитриевич остались в Кирьяковке, чтобы уладить дело с родителями убитой девочки и почтить своим присутствием первую панихиду по умершей.

Когда, накануне, ее, уже мертвую, отнесли в людскую, я не утерпел и, вслед за дядей Всеволодом, проник туда и разглядел ее.

У нее было милое, загорелое, чистое личико.

Большие серые глазки, оттененные темными ресницами, еще были широко открыты.

Ласково-детское любопытство, с которым она доверчиво впилась в игры взрослых, так и застыло в них навсегда.

Глава тридцать вторая

Когда, в начале осени, я нервно и тревожно уже готовился к вступительному экзамену в гимназию, мы, с сестрой, почти одновременно, заболели корью.

Начиная с сознательного возраста, я не помнил никакой, более или менее длительной, или серьезной своей болезни.

Еще при Марфе Мартемьяновне, когда мы не обедали за общим столом, мне случалось «обкушиваться» и нередко.

Тогда, по дороге из Морского Госпиталя, заезжал к нам престарелый Никита Никитич Мазюкевич, женатый на родной сестре покойного моего отца, Александре Михайловне.

С сестрой, мы прозвали ее «черной тетей Сашей» потому, что ее округлое, все еще красивое лицо, было точно бронзировано, до того она была смугла.

Любила же она одеваться, при своих седых волосах, во все белое, или светло-лиловое так, что контраст ее «черноты» был разительный.

«Une mouche dans du lait»[25] — сказала про нее mademoiselle Clotilde, когда съездила к ней с нами впервые знакомиться.

Под конец, я уже знал заранее, что именно пропишет добрейший Никита Никитич после того, как постукает мой живот и я высуну и покажу ему свой язык: очень противную сладковатую, бурого цвета, микстуру, — «бурду», как окрестила ее сестра Ольга.

После трехдневной диэты на молочной кашке, или бульоне, наступал блаженный миг, когда сама мама приносила специально для меня, «выздоравливающего», изготовленную собственноручно милейшею Надеждою Павловною, пухленькую котлетку, вкуса изумительного.

Это всегда знаменовало полное мое выздоровление и на следующий день я уже бегал, «как встрепанный».

Когда умер Никита Никитич Мазюкевич, его сменил, в качестве домашнего врача, Антон Доминикович Миштольд и мои заболевания стали еще более редки, хотя раз, помнится, мне почему-то ставили за ушами пьявки, для чего приходил «армянский человек», Иван Федорович, никогда мой беспощадный «стригун-цирюльник».

Когда мы с сестрой только что заболели корью, мама очень встревожилась, боясь осложнений.

Но «Доминикич» ее успокоил.

Болезнь протекла правильно без малейших осложнений и у меня об этом времени, как и вообще о всех моих заболеваниях,

сохранилось самое отрадное, а на этот раз, почему-то, и очень яркое воспоминание.

«Сидеть в карантине», т. е. никуда не выходить из комнат, нам пришлось долго, но это не только не было для нас лишением, но, наоборот, казалось самым светлым оазисом и без того счастливого детства.

Мама и mademoiselle Clotilde, оставившая на это время свои уроки в городов, были неотступно с нами, став буквально нашими пленницами.

Никто из родственников и знакомых, боясь заразы, к нам не ходил, мама тоже никуда не выезжала.

Дядю Всеволода мама также в дом не впускала, опасаясь, чтобы не заболела Нелли.

Он должен был довольствоваться тем, что раза два в день видел нас «через окно», подходя к окнам наших. спален, которые выходили в сад.

Всякое учение было отменено и никаких учителей мы не видели в течение шести недель.

Никто из сверстников и «кузин» к нам не приходили так что играть, бегать с нами и вообще всячески развлекать нас лежало на исключительной обязанности мамы и mademoiselle Clotilde, а иногда к нам присоединялась Матреша, по-прежнему, состоявшая нашей горничной.

В сумерки игра в прятки возобновлялась ежедневно и, хотя мы, с сестрой и Матрешей, прятались почти все в те же места, нас находили не сразу, приходилось «аукать».

Прятали также мамино кольцо, или наперсток, а спрятавший говорил: «горячо, холодно, горячо, холодно» и спрятанную вещь, наконец, находили.

Когда же зажигали огни, наступало полное блаженство.

Мама усаживалась в кресло и вышивала «a l'anglaise», или «en Richelieu», а mademoiselle Clotilde садилась посредине дивана, под лампу, раскрывала книжку и громко читала нам.

Так мы прослушали «Athala», «Paul et Virginie» и многое другое.

Сестра обыкновенно зарисовывала что-нибудь в альбом, который себе завела, а ничего не делал, если не считать за дело вообще непоседливость мою.

То я стремительно, и для нее вполне неожиданно, кидался к маме и тискал ее в своих объятиях, не давая ей вышивать, то забирался с ногами на диван и, стоя на коленях, раздувал вьющиеся волосики на затылке mademoiselle Clotilde, не смея поцеловать ее затылок, так как она не допускала никаких моих нежностей, то приставал и к сестре: растопыривал все пять

пальцев, клал руку ей на альбом и говорил: «рисуй»!

Ни первая, ни вторая не сердились, хотя подчас соглашались, что я бываю «insupportable»[26], но я знал, что это говорится «любя».

Третья же, т. е. сестра, обыкновенно реагировала энергичнее: она норовила побольнее хлопнуть меня по руке, что, однако, ей не всегда удавалось…..

О, счастливое детство мое!

Как я благославляю тебя в эти, скорбные для моей родины дни, переживаемые мною вдали от нее, против воли отрезанным от нее!

Какая жгучая скорбь в бессилии дать ей хоть частицу того счастья, покоя, любви и ласки, которыми она вскормила мое детство.

Неужели суждено мне навсегда закрыть глаза при кровавом зареве, неудержимо пожирающей ее вражды и злобы и не увидеть ее никогда счастливой?

О, если так, заранее шлю свое загробное проклятие всем, нагло обманувшим, истерзавшим, опозорившим ее!..

Пусть тяготеет это проклятие над ними до тех пор, пока Россия не станет такой же детски-незлобливо-счастливой, как было счастливое мое детство.

notes

Примечания

1

Так вот это и есть Николь! Ну будем друзьями!

2

Да, mademoiselle.

3

Это обсерватория! Это почта! Это церковь! Это бульвары.

4

А это Николь, милый мальчик!

5

Огромна.

6

В совсем маленькой комнатке.

7

О, нет, никогда!

8

Я очень беспокойно ждала: что-то ждет меня вдали от родины? И как я счастлива, что так хорошо мне выпало!

9

Я точно также!

10

Вы уже черезчур рассеяны Николай, не вздумайте только хныкать, отправляйтесь проветриться и возвращайтесь вскоре.

11

Оставим это. Я здесь не для того, чтобы изучать русский язык, а чтобы научить вас французскому.

12

Не брить его.

13

Предоставить расти его прекрасным волосам.

14

Для своего возраста, она очень кокетлива, это нравится мужчинам.

15

Как француженка, вы единственны!

16

Я не из Парижа, и не жалею об этом!

17

Ах если бы мои могли видеть, как мне здесь хорошо, они были бы так счастливы!

18

В гимназии.

19

Ваша матушка итак уже счастлива, имея такую дочь, как вы!

20

Вот настоящая деревня!

21

Да, да, русский есть! Русский есть!

22

Что он там болтает?

23

Николь ты будешь адвокатом, у тебя хорошо привешен язык.

24

Верьте мне, не каждый день можно видеть подобную мать!

25

Муха в молоке.

26

Несносен.